

НИКОЛАЙ
ГАЙДУК



СВЯТАЯ
ГРУСТЬ

Николай Гайдук
Святая Грусть

«Гайдук Николай Викторович»

1997

Гайдук Н. В.

Святая Грусть / Н. В. Гайдук — «Гайдук Николай Викторович»,
1997

Всё жанры хороши, кроме скучного. С первой и до последней страницы роман не даёт скучать. Энергичное и многокрасочное действие разворачивается на просторах сказочно-реальной страны Святая Грусть, сквозь которую как бы просвечивает Святая Русь. Здесь колоритные герои, приключения. Здесь – вечные вопросы добра и зла, света и тьмы, Бога и дьявола. Кто победит и что победит на Земле и в душе человека? Несмотря на приключенческий характер, в романе сохраняется главное достоинство серьёзной русской литературы – оригинальный язык.

© Гайдук Н. В., 1997

© Гайдук Николай Викторович, 1997

Содержание

Пролог	6
Часть первая. Приключения в царских палатах	7
Глава первая. Предчувствие грозы	7
Глава вторая. Песни и пляски дождя	10
Глава третья. Бочка мёда с ложкой дёгтя	13
Глава четвёртая. Над широкою хрустальною волной	17
Глава пятая. Наконечник поющей стрелы	22
Глава шестая. Пропала царская печаль	27
Глава седьмая. Следы на потолке	30
Глава восьмая. Будет мир, будет свет	37
Глава девятая. Секреты и сказки великого странника	42
Глава десятая. Кучерявая лысина	47
Глава одиннадцатая. Высокая работа седого звездочёта	53
Глава двенадцатая. Смотри и слушай	62
Глава тринадцатая. Фартовый парень Серьгагуля Чернолис	67
Глава четырнадцатая. Горилампущка	73
Глава пятнадцатая. Под кривою крышей кабака	78
Глава шестнадцатая. Заморские гости	87
Глава семнадцатая. Топор обезглавыч	91
Глава восемнадцатая. Колокола никогда не картавят	95
Глава девятнадцатая. Что всё это значит?	99
Глава двадцатая. Боярское угощение	103
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Николай Гайдук

Святая Грусть

Сколько ни старайся, как не измудряйся –
В царство этой грусти не попасть!
Время рушит камень, время сушит реки
Всё когда-то канет в темноту навеки –
Страсти, слава, золото и власть...

И только в памяти седых сказаний,
В памяти легенд или преданий,
Время становится певчею птицей –
На все голоса мастерицей.
Из Туманного Заморья,
Из Далёкого Заокееанья
Прилетает волшебная птаха,
Отрясает крылышки от праха,
И начинает сказывать –
Слезу со смехом связывать...

Пролог

Давно это было, друзья, так давно, что как будто вчера. Многие земли, народы с тех пор бесследно пропали, съедаемые голодом и холодом.

Где Атлантида? Где Эллада? Где шумеры? Где финикийцы? Где владенья Великого Турка? Где авары со своей великою и грозною державой? Где хазары? Где гунны? Где Великая Степь, над лазурным простором которой звенел наконецник «поющей стрелы» – просил напиться крови человеческой... Где, где?.. Что без толку вопросы гнуть?

«Моря превращаются в континенты, а континенты – в моря».¹

Ничего не осталось от гордости гор, от глубинной грозы океанов... И не надо смотреть на старинные карты, искать страну с названием Святая Грусть. Хотя была, была страна такая. Была – и сплыла. Давно это случилось, дорогие, так давно, что как будто неправда.

Свято место пусто не бывает, знаем. Там, где жила страна Святая Грусть – нынче поселилось Грешное Веселье. И только в памяти седых легенд ещё звонят, звонят колокола, зовут к заутрене... Народ просыпается, крестится, слышны слова молитвы и слова Священного писания:

– Сердце мудрого в доме печали, сердце глупого в доме веселья.

¹ Джордано Бруно. Примеч. автора

Часть первая. Приключения в царских палатах

Глава первая. Предчувствие грозы

1

Святогрустное Царство ещё пребывало в царстве сладкого сна – прошу прощения за тавтологию. Но воздушный румянец уже проступал на востоке. Уже над просторами Святогрустного Царства зацветало весёлое утречко.

И вдруг раздался шепот:

Веселей не придумаешь! Царская печать из-под ружья пропала!

Когда?

Сию минуту!

О Господи! Никто ещё не знает?

Нет.

В небесах просверкнуло, но гром почему-то не грянул.

Царь Грустный I неожиданно проснулся, мучительно постанывая. Ощущение чего-то ужасного промелькнуло в душе, будто всполох от высокой молнии. Приближалась гроза, это ясно. Однако пугало, грозило что-то другое.

«Приснилось? – подумал царь, вставая. – Или я действительно что-то услышал?»

Он подошёл к полуоткрытому окну – прохлада кинулась на грудь и сладковато обожгла потную шею. Царь вдохнул полной грудью и, выдыхая, пожевал губами; пахло свежо и вкусно; на мгновение во рту возникло ощущение разжеванного яблока, но только на мгновение.

Весна входила в силу – дерзкая, игривая. Травяная зелень поднималась в полный рост. Хмелящие соки, разрывая шкуру, колобродили по деревянным жилам дубовой рощи, издревле стоящей под холмом, на котором широко расселся крепкий статный Святогрустный Кремль. (Тут государь улыбнулся, припоминая каламбурчик Старого Шута: «С утра здесь Кремль, а ночью Дремль!»).

Слепое раздражение заставило его нахмуриться. «Правда что – Дремль, – подумал он, прислушиваясь к Царским Палатам. – Хоть бы где одна собака тявкнула».

Он выглянул в окно. С небес ещё не капало, но сильно пахло спелым дождём и даже ливнем, скопившимся в облаках. Прибрежные поляны и луга мерцали в сизых рассветных сумерках. Новорожденный жар-цветочек, только что проклюнувшийся из-под земли, был похож на маленькую свечку, боязливо трепещущую на ветру – качался на тоненькой папке, помигивал, рассыпая желтоватые блики. По-над рекой вдали виднелись белозубые стены Кремля – точно разгрызали темноту. Золотая луковка блестела на самой большой колокольне, мастерами поднятой выше облаков.

Перекрестившись на колокольню, государь снова посмотрел на огонёк новорожденного жар-цветка.

И вспомнил о чём-то приятном.

И сразу лицо подобрело, морщина растаяла на переносице.

2

Используя внутренний ход, чтобы охрану зря не беспокоить, он пошёл к царице. Узкий длинный коридор слабо освещали три магических кристалла в дорогой оправе – своеобразные факелы, горящие «холодным пламенем» и позволяющие не беспокоиться о пожаре. Кристаллы разноцветные – рубиновый, жёлтый и голубой. Как будто радуга распускала свои лепестки над головой царя.

Остановившись около двери, он ощутил в себе волнение любовника, идущего на первое тайное свидание. Сердце его охватило доброе, жаркое чувство к жене... Звали её Августина, но царь перекроил на свой манер: Августина – Грустина – Грустя.

Спальня у Грустины была богатая; перед ней померкла бы и спальня египетской царицы Хатшеспут; и шамаханская царица обзавидовалась бы, глядя на убранство этой просторной спальни.

Тут пахло миром, лавандой и чем-то ещё, чем неизменно пахнет только в присутствии женщины, – и это волновало его мужскую плоть и заставляло мучиться ложным стыдом, точно был он из другого теста по сравнению с другими простыми мужиками. Но «тесто» было ничуть не хуже и не лучше – смертное, грешное.

Царь остановился, чуть не задыхаясь от желания...

Глядел и глядел на молочное, нежное тело царицы, безмятежно, бесстыдно и беспamięтно разметававшееся на широкой постели...

В тишине потрескивал фитиль – лампадка теплилась под образами, лицо святого Угодника с немим укором наблюдало за царём. И временами слышался глубокий выдох Грусти, перемежаемый полустонами, бессвязным бормотанием. Нужно было или уходить, или будить, а в таком вот затаённом подглядывании за спящим человеком было что-то неприличное, не царское.

Он постоял, потоптался, не решаясь нарушить покой, сделал шаг по направлению к двери, затем вернулся и, осторожно опускаясь на край постели, руку положил на горячий податливый женский живот. Погладил дрожащей ладонью, подумал: «Как странно! Где-то под моей рукой сейчас теплится новая жизнь, зарождается душа ребёнка, цесаревича. Дай Бог ему добра. И всем нам, Господи!»

Грустя шевельнулась под его рукою, облизнула сухие губы и что-то прошептала, пытаясь улыбнуться. Глаза её на мгновенье «вынырнули» из тёплого сонного омута.

А? Это ты? Что-нибудь...

Ничего, ничего, извини! – Он поцеловал её в висок и ощутил под губами дрожащую тонкую жилку, вздохнул и подумал, как хорошо бы сейчас не уходить, а подвалиться под бел бочок царицы.

Задумавшись, он отправился не внутренним ходом – наружным. За дверью стоял охранник – здоровенный гренадёр с обнаженной синеватой саблей, с выпученными глазами, в которых была готовность броситься в атаку.

Не ожидая увидеть охранника, царь обомлел и отшатнулся от дамасской пугающей стали. И тут же ему сделалось неловко за свою мгновенную растерянность, которую можно было бы принять за трусоватость, хотя от природы царь был смельчаком. Смущённо улыбаясь, он подошёл к охраннику, намереваясь объяснить ему, что это не испуг, а просто...

Но объяснять ничего не пришлось.

Охранник спал с открытыми глазами, бессмысленно глядевшими сквозь государя, и при этом спящий гренадёр не терял своей отличной выправки – головой тянулся к потолку, а рука его до побеления сжимала эфес и чуть-чуть подрагивала от напряжения; и сабля угрожающе подрагивала, окружая себя серебристым сиянием.

«Хорош вояка, нечего сказать, – мрачней, подумал государь. – Завтра же отправлю в Хренодёрский Полк. Это что такое? Не Кремль, а Дремль какой-то!»

В глазах гренадёра появилась робкая осмысленность, он моргнул два раза и улыбнулся, пожимая плечами и поворачивая голову к царю.

– Виноват, – прошептал он. – Может, вы подумали, что я это... сплю? Дак не извольте сумлеваться, Ваша Светлость! Я – как штык!

Царь засмеялся и, похлопав гренадёра по плечу, пошёл к себе.

3

В царёвой комнате – в дальнем углу – царил тот беспорядок, который бывает накануне отъезда: многие вещи покинули привычные гнёзда и разлетелись по столам, подоконникам и даже по полу.

Хорошо ли, плохо ли, да только у этого царя был совсем не царский странный комплекс. Он почему-то был уверен, что не может, как следует, управлять страной Святая Грусть. И не может, и не достоин. И потому в нём созрела мысль о побеге. Но царь даже сам себе в этом будущем побеге не признавался. Он думал, что просто в нём зреет очень здравая мысль: поехать, посмотреть, полюбоваться на страну Святая Грусть – увидеть её во всей широте, красоте и величии. Надо, надо! А как же? Весь никто ещё из царей, правивших тут до него, не удосужился посмотреть в глаза того народа, который населяет царство-государство. Замыкаясь за крепкими кремлёвскими стенами, всякий правитель волей-неволей становится небожителем, хотя окружают его далеко не ангелы. Прихлебатели, как правило, крутятся вокруг да около; и всякий норовят лишний раз улыбнуться и лукавое слово сказать, успокоить, что всё, мол, в порядке, что Ваша Светлость правит государством так, как ещё никто и никогда не правил.

А если поехать, спросить у народа?

Вот о чём думал теперь этот царь, остановившись около окна и наблюдая за игрою далёких молний, полосовавших небеса где-то в горах или в Лазурном Заречье.

Глава вторая. Песни и пляски дождя

1

Молния промчалась, жарко обнимая – от края и до края – великую волшебную страну. Серебристая витиеватая нитка резко порвалась под небом, отражаясь в реках, росах, куполах и озёрах...

Сторожевая башня полыхнула на краю Царь-Города, словно кто-то выстрелил оттуда из оружия, начинённого беззвучным порохом, который совсем недавно изобрели в потаённых царских подвалах. Стальная секира синеватыми бликами рубанула по воздуху, отражая небесный огонь.

– Охран Охраныч! – раскатисто прокричали на башне. – Гроза идёт!

Начальник дворцовой охраны зевнул откуда-то из тёмного далёкого угла. Потянулся, потрескивая косточками да хрящиками.

Весна! – Ответил он, выглядывая из полукруглой бойницы, снаружи поклёванной пулями. – Что ж ты хочешь? Какая весна без Грозы?

Ну, так что? Пропустить? Госпожу Грозу.

Про... о-хо-хо... пропускай!

Так она не одна, с кавалером.

А кто ещё там?

Гром Громолвыч. А кто же?

Ладно, – неохотно согласился начальник дворцовой охраны. – Только пускай он за воротами оставит большую погремушку, а то колокольню опять расколотит, как в прошлом году...

2

Весенний тёплый Дождь минутами назад пошёл гулять по царству. Голубоглазый длинноногий парень, он прибежал откуда-то издалека – из Туманного Заморья. Сильными плечами раздвигая тучи-облака, Дождь покатал по небу гремучие шары, похожие на большие орехи, растущие на громадных горных деревьях, – эти орехи потрескивали между ладонями, кололись, крошились... Звонко отряхнув ладони, Дождь забрался на поднебесный чердак и похрустел золотой соломой, которая вдруг превратилась в молнии, играючи летящие на все четыре стороны. Побаловавшись с золотой соломой, Дождь не удержался от лихого озорства: покачал угрюмые вершины, сгоняя с них туманный серый наволок и тревожа одинокого орла, сверкнувшего сердитым алмазным оком в сумерках; улета, орёл тяжелеет под дождевыми крупными каплями, но упрямо не снижался в полёте... Гранитная лавина по сырому склону съехала в ущелье, ломая кустарник и молодые деревья. Шальная молния взлетела в поднебесье и сорвалась оттуда – почти вертикально. Тысячелетний дуб стоял среди пустой долины. Молния воткнулась в тёмную крону. Живое тело дуба сдавленно охнуло. В одно мгновение сердцевины переполнились жаром. Треснула кора и пересохли ветки. Дуб раскололся, рассыпая старые желуди, с прошлого года ржавеющие среди старых дубовых лавров... Раздался хохот в небесах. Дождь веселился, бесшабашно сдвинув набекрень белое облако – шляпу свою. Расколотив вековой дуб, он поплясал возле огня, погрелся, а потом сырыми босыми ногами затоптал горящие остатки дерева – от пожара, от греха подальше.

И только после этого он перескочил незримую границу великого Святогрустного Царства.

Прошмыгнул к воротам старинного Царь-Города, ногтями постучал по кровлям, как будто проверяя работу кровельщиков. Пощекотал узорные окошки, мелодично посвистел свирелями дворцовых водостоков, подражая мелодиям пастушеских пасторалей... А вслед за этим Гром Громоловович ударил, немилосердно разрушая пастораль. Вороньё слетело с колокольни, раздирая глотки паническими криками и ничего не видя в мокрой темноте.

Одна ворона сдуру стукнулась в окошко царской опочивальни.

3

«Худая примета!» – мелькнуло в мозгу.

Царь Государьевич, поднявшийся ни свет, ни заря, снова решил маленько отдохнуть, и вот сейчас он с трудом оторвал от подушки голову с помятою прической и такими же помятыми мыслями. По сторонам посмотрел.

Ворона, ударившаяся в окно, успела уже улететь за несколько этих секунд, покуда государь прочухался. «Что за примета? – подумал он. – И почему худая?»

Молния за окнами выбелила небо синевато-светлою мокрою известкой. Царь в это время проморгался. Но ещё не видел ясно и отчётливо.

Горим? – спросил он. – Ты где, Терёшка?

Я здесь...

Горим, что ль?

Нет, Ваша Светлость.

А чего мы делаем?

Гроза, Ваша Светлость. Прогнать?

Царь зевнул, кидая на раскрытый рот мелкие крестики. Сонная слюна протопилась в левом уголке. Он вытер губы. Снова лёг и отмахнулся.

– Гроза? Ну и пускай себе гуляет. Зелёный нефрит мастера положили... Не страшно.

Терентий постоял с глуповато разведёнными руками. Осмотрелся в недоумении. И даже под кровать собрался заглянуть, будто хотел обнаружить непонятный какой-то «зелёный нефрит» или тех мастеров, которые чего-то куда-то подложили.

«Хрен разберешь тут... – Слуга надулся. – Набормочет спросонья, а ты потом ломай башку. Што вот он хотел сказать? Одному только Богу известно. Может быть, ночной горшок надо под кровать положить? Царь намекнул, а я не догадался. Горшок-то – зелёный. Как же это сразу-то я не докумекал?»

Слуга побежал и принёс ночную вазу, расписанную какими-то весёлыми цветочками.

Ты чего суешь мне? – удивился государь. – Ты ещё на голову мне этот горшок надень!

Зачем на голову? – чуть слышно пробормотал слуга. – Добрые люди на задницу его надевают...

Пожилой Терентий иногда позволял себе такие вольности; он был возле царя с самого младенчества его.

Убери, тебе сказано! – Государь нахмурился. – Совсем уже!

А чего «совсем»? Он же зелёный. Велено было подать под кровать.

Да кто тебе это сказал?

Ваша Светлость.

Когда?

А только што... Зелёный, говорите, положить. Ну я и подумал, горшок-то зелёный. Стесняется, думаю, наш государь. А чего стесняться-то? Дело житейское. И на старуху бывает проуха.

Царь неожиданно рассмеялся. И так он вдохновенно потешался – чуть не упал с кровати.

Слуга обиделся. Постоял, пожав плечами, плюнул в горшок и, сутулясь, пошёл в дальнюю свою уютную каморку.

– Работаешь, работаешь не подкладая рук, – проворчал Терентий. – А в ответ насмешки вместо благодарности. Уйду – заплачете, не похуже дождика прольётесь...

Молния бешено билась поблизости. Белым цветом яблони зацветали в саду – молниеносно вяли, осыпая лепестки на ветер. Крупными ранетками в траву слетали градины, щёлкали по каменной стене и жестяному подоконнику. По крыше бегал Тучный Гром – корежил, мят железные полотна, сотрясал хоромину и хрипло похохатывал.

«Давай, давай, – подумал царь, – если делать нечего».

Он отвернулся от окна, поудобнее укладываясь на перине. А Гроза гремела. Гром с ножами и саблями бегал под окошками и в деревьях сада... Они хотели получить солидный выкуп – все другие цари, короли откупались от них, чтобы дворцы не разрушило Грозными Грозами.

И только здесь не уважили почему-то, не боялись.

А дело было в том, что мастера во время строительства заложили под углы дворца зелёные куски нефрита – отвели от жилища смертобойную молнию. Вот почему, засыпая, Царь Грустный I улыбался так беспечно, так блаженно, как могут улыбаться лишь государи.

Глава третья. Бочка мёда с ложкой дёгтя

1

Кто-то шагал по саду. Пригибался – прятался. Тяжёлая туша давила грязь – брызги летели на цветы, на беломраморные скульптурки, окружающие фонтан.

Темнота поглотила фигуру. И почудился в воздухе слабый запах какой-то нечисти.

Небо затихло, только вдалеке время от времени чуть погромыхивало. Дыры в облаках зашивала Молния сверкающими нитками – длинные стежки ложились до самого горизонта.

От мокрой земли – запах моря. Сизым дымом закурились поляны, точно зарастали неземной травой, пахучей до головокружения. На пригорках посмеивались дождевые потоки, сталкиваясь друг с другом, играя в чехарду и кувыркаясь в темноте оврагов.

Серебряною цепью зазвенел ручей, роня звенья с крутизны обрыва... На вершине угловатой башни обозначился остроносенький месяц, окутанный шафрановым пухом – стоял куренком на одной ноге, звездную россыпь доклёвывал.

Царские люди за работу взялись.

Шепотки шелестели в саду:

Осторожнее, дерево не поломай.

Не катите бочку на меня.

Смех под сурдинку. И вновь шепотки:

Кому ты нужен? Такую бочку мёду на тебя катить.

Ой, да чтоб...

Тихо, сказано!

Ногу отдавили, окаянные!

Разбудишь царя, так он тебе отдавит кое-что ещё!

Давай сюда, подкатывай.

Отлично. Открывайте.

В саду запахло медом – раскрытые бочки стояли под окнами царской опочивальни. Царь любил медовую грозду, разлитую в весеннем воздухе.

Увесистые капли в тишине долбили – звонко, чётко. Словно кто-то чётки во мгле перебирал... Запах мёда усиливался...

Из-за кремлёвской белозубой стены вскоре послышался дребезжащий звук пчелиного крыла – тудяга потянулась на медовый цветочный дух.

За деревьями тень промелькнула. Мухобойщик-Мухогробщик появился. Не отличил спросонья муху от пчелы. Размахнулся и тогда только сообразил... Но удержаться уже не смог... Удар получился неловкий. Пчела скovyрнулась, упала на спинку и зажужжала в лужице – вода подкипала под крылышками. Мухобойщик-Мухогробщик помог ей подняться и улететь.

И снова тихо. Древний этот Кремль всё ещё – Дремль. Царский сад мерцает бриллиантовыми гроздьями и жемчужными ожерельями. Серые тени, как мыши, ползут по земле. Котёнком ручеек в саду мурлычет, крутит хвостом среди камней.

Запах меда ширится, пьянит.

И вдруг...

«Да что такое? – Мухобойщик-Мухогробщик поморщился. – Показалось? Нет ли? Надо скорее уходить отсюда, а то ещё скажут, что это я в саду испортил воздух!»

Дождевая капля с ветки соскочила – прямо на нос Мухогробщика. Хотел рукавомтереть, но вспомнил о дворцовых приличиях. Шёлковый платочек достал – подарочек любимой

крали, пахнувший дамскими прелестями. После этого платка воздух в саду опять представился медовым.

«Значит, показалось!» – подумал Мухогробщик, успокаиваясь.

Однако время шло и дух какой-то нечисти всё крепче, всё гуще примешивался к чистейшему благоуханию.

У царя появилась тревога во сне. Тупым концом иглы потыкала по сердцу, перевернулась и ужалила горячим острием, будто пчела залетела в раскрытое окно опочивальни.

Отрывая голову от подушки, Царь Государьевич перекрестился на животрепещущее золото огня – лампадка освещала иконостас в углу. На паркете шевелились тени. Рогатый месяц в тучах за окошком скалился – белые зубурины точили крону яблони. Хрустели ветки в сырости, в туманах сада. А временами кто-то из темноты сыто похрюкивал.

2

В небольшой караульной избе потрескивает камелёк, оранжевые блики бегают по стенам, потолку. Вода закипает в серебристой посудине.

Кто-то постоял возле окна, посмотрел на камелёк, покосился на лестницу – возле стены. Перекладина скрипнула и чуть не обломилась под копытом – на тёмной ступеньке лестницы проступила белёсая чёрточка.

Забравшись наверх, этот самый «Кто-то» насыпал в трубу сатанинского порошка. И через несколько мгновений чёрное облако рвануло наружу, распирая жестяное жерло, сверху которого находился дымник, увенчанный узорным жестяным петухом.

Мертвечиной завоняло из трубы. «Кто-то» постоял, понюхал, довольно похрюкивая. И вдруг увидел петуха. И так перепугался почему-то – едва не рухнул с крыши. Обхватив трубу передними копытами, «Кто-то» сильно зажмурил поросычьи глазки – думал, что петух закуркает.

Но петух помалкивал, сверкая дождевыми каплями на железной голове – словно живые глаза там сердито помигивали.

Успокоившись, «Кто-то» осмелел и протянул копыто – сдёрнул жестяного петуха. Башку ему скрутил, остервенело скомкал всю фигурку и забросил куда подальше – в тёмные кусты.

Этот проклятый петух помешал, и работа на крыше осталась неоконченной. «Кто-то» напрочь забыл, что в кармане есть ещё порошок. И это спасло двух людей, находящихся в караульной избе.

Там начались удивительные превращения.

Вдруг большой усатый таракан появился – пришёл на огонёк камелька. Деловито и нахально таракан поднялся по высокой дубовой ножке, потыкал усами по краю стола, забрался на широкую поверхность, поцарапанную и порубленную кинжалами, пиками. Пахло вкусно, только пусто было. Две-три скудные крошки остались от солдатского ужина. Зато впереди заблестела капля вина – целое пьяное озеро. Таракан хлебнул винца и ошалел. Приподнимаясь на задних лапках, он стал кренделя выделять на середине столешницы, такие ловкие, такие шустрые, будто раньше он с бродячим цирком страну обошел. Но и это ещё не все. Таракан вдруг начал разговаривать, паясничать и даже песню попытался затянуть. И, в конце концов, разбудил начальника дворцовой охраны. А этого не надо было делать. «Кто-то» не хотел, чтоб так случилось. Но всего нельзя предусмотреть.

– Охра! – закричал Таракан, потешаясь. – Смотри в оба! Смотри в оба, кривоглазая бес-тия!

Сатанинский порошок, насыпанный в трубу, распространял по караульной избе голубоватый и зеленоватый ядовитый дымок.

Начальник дворцовой охраны уже задыхался... И вдруг – этот голос дошёл до сознания... Начальник содрогнулся. Выпрямил багровый бычий загибок, надломленный одурью.

Встал. Пошатнулся. В ухе почесал. Двери в соседнюю комнату были закрыты – там находился дежурный солдат. А здесь – никого, тишина.

– Кто сказал «смотри в оба»? – пробормотал начальник, потягиваясь.

Укрываясь за пустой бутылкой, таракан опять хлебнул винца и закричал:

– Смотри в оба, это я тебе, царь, говорю!

«О Господи! Не может быть! – Одноглазый Охран Охранович зевнул и, разминая кости, прошёлся по караульной избе. – Что за чертовщина? Мне в оба смотреть даже царь не прикажет!»

3

За перевалами живёт воинственное племя – дуροхамцы. Точней сказать, два племени – Дураки и Хамы. Давно уже они между собою породнились, но всё равно воюют внутри своих земель, а иногда походами идут на приступы соседних владений. И, конечно, эти дурохамцы не могли не позариться на чудную страну Святая Грусть – кусок больно лакомый.

Правый глаз Охрана Охрановича в бою остался – за правое дело сбежал со щеки. Уцелевшее сиротливое око было похоже на прохладный камень «тигровый глаз» и придавало облику старого воина нечто тигриное, пугающее, хотя по характеру он – мягче воска бывает. Только дурохамцам поблажки не даёт.

Для краткости Охран Охранович зовётся – Охра. Усатое скуластое лицо, задубелое в походах и сражениях, кожа цвета жжёной охры – подтверждение прозвищу.

Надо сказать, что Охра очень ревниво относился к тем, у кого усы длинней, чем у него. «Усы и борода – кто бы что ни говорил – одно из главных мужских достоинств!» В этом Охра был убеждён. И потому сейчас, заметив таракана, Охра не на шутку осерчал.

«Прусаков... усаков развелось тут!» – подумал он, доставая из-за пояса кремнёвый пистолет, заряженный бездымным и беззвучным порохом; секретное изобретение для охраны.

Раздался тихий сухой щёлчок и Таракан упал, сраженный меткой пулей – остатки усов разлетелись по-над столом. В тёмном бревне обозначилась круглая светлая дырка – от пули.

Спрятав оружие, Охран Охранович вздохнул:

– И за что только наш Мухогробщик получает огромное жалованье? Давно пора бездельника уволить. – Он помолчал, принюхиваясь. – Что за чертовщина? Кто испортил воздух в караулке? Эй ты, служивый!..

Начальник пинком распахнул дверь в соседнюю комнату.

Солдата звали Ростислав (Ростиславненький, мама звала). Вытягиваясь во фронт, служивый отчеканил:

Никак нет-с!

Охран Охранович побагровел.

Что ты хочешь сказать?

Я молчу-с!

Нет, ты хочешь сказать, что это я испортил...

Никак нет-с!

Ну, хватит. Заладил... – Начальник поморщился. – А что это за дым у камелька?

В трубу что-то насыпалось и это... пахнет. Я даже двери приоткрыл. Пусть проветрится, думаю.

Твоё дело не думать, а исполнять.

Так точно! Что изволите?

Надо пойти посты проверить.

Будет исполнено!

Подожди. Экий ты шустрый. Как таракан. Я сам посты проверю. Я говорю, что перед этим надо чайку попить.

Дело говорите. Медочку принести?

– Догадливый ты, паря. Ну, давай. Одна нога здесь, а другая в саду!

Ростислав – перед тем как начальник потревожил его «зеркало» делал из своего сапога. Так старался, так драил сапог, будто собирался бриться перед ним.

Теперь же, откинув сапожную щетку, солдат поспешно взял под козырёк, только забыл, что на руке – сапог.

Усы начальника затрепетали от хохота.

Проснись, тетеря!

Есть проснуться! – Надраенный правый сапог остался блестеть у порога, а левый – засверкал, закопытил за стеной караульной избы. Ростислав бежал по саду, спотыкался на камнях, пробуксовывал на чернозёмном дымном киселе.

Начальник взял с подноса осьмигранную кружку, налил кипятку. Усами подёргал, причмокивая и уже предвкушая медовую блажь.

Но солдат почему-то вернулся быстрее обыкновенного. Дверь за спиной широко распахнулась – аж затылок у Охры ветерком обдало.

– Ви... новат, – пролепетал побледневший парень.

«Тигровый глаз» охранника метнулся в темноту за двери.

Что случилось?

Бе... бе...

Короче! – рассвирепел начальник. – Что ты блеешь, как баран на новые ворота?!

Бе... беда, ваше бродие! Там в каждой бочке меда... по ложке дегтя!

От изумления Охран Охранович усы уронил в кипяток. Осьмигранная кружка в руке заплескалась, кидаясь каплями.

– Ох, мать вашу дёгтем! – Он подскочил, ошпаренный. Кружка расплескалась в воздухе, ударились об пол – разлетелись крупные куски заморского фарфора, похожего на рафинад.

В тишине за стеною почудилось хрюканье. Охран Охранович палец поднял к потолку – достал до мастицы.

– Ты слышал?

Так точно-с! – Ростислав глядел на указательный перст начальника.

Значит, проворонил? Пропустил нечистого?

Не может быть!

А кто же это хрюкает?

Солдат подумал, продолжая преданно пялиться вверх.

Доедала, наверно? – сказал неуверенно.

Какой тебе... надоедала?

Ну, который недавно пришёл во дворец. Доедалой работает при царском столе. Иногда он в поросёнка превращается. Я видел. Как нажрётся, так...

Что ты плетёшь?

– Ей-богу! Хоть под присягой могу подтвердить!

Красная жжёная охра на скулах начальника заметно побелела. Стоячие усы обвяли – сделались похожими на крылья подбитой птицы.

Однако через несколько мгновений «тигровый глаз» уже горел тигриною отвагой и решимостью – прожигал сырые сумерки предутреннего сада.

– Я поросёнка этого найду! – сам себе пообещал охранник, внимательно заглядывая под кусты и деревья. – А это что? Петух? Железный? Странно. Как он сюда прилетел?

Глава четвёртая. Над широкою хрустальною волной

1

Робкий розовый лучик – наподобие птенчика – полетел с востока через тайгу, через моря, через поля. И вдруг застрял, зажатый огромными скалами на перевале. Набежавший ветер чуть подтолкнул его. Лучик расправил крылья, осмелел, вырываясь на волю, и даже стал какую-то песню щебетать, пролетая сквозь туманы, скирдами стоящие на берегах, на полянах.

Вслед за первым лучом стриганул в небеса и второй, и третий...

С каждой секундой светало Святогрустное Царство – необъятное, дивное. Сёла и деревни просыпались. Пробуждались гардарики – так в этом царстве когда-то называлась города. И пройдет совсем немного времени, когда весёлое и дерзкое племя дуροхамцев нагрянет сюда, и устроит...

А впрочем, не стоит, не стоит вперёд забегать.

2

Царь-Город посветлел. Колокольни в небесах раззолотились. И переулки, и улицы и площади – всё кругом оголосилось.

Кто-то радостно воскликнул:

Доброе утречко, Устя! Пришёл?

Доброе, доброе...

Как ночевалось в полях?

– Красота!

Устя Оглашенный – юродивый старик. Ходит по стране, чего-то ищет. В Царь-Город заворачивает время от времени. За плечами Оглашенного – гармошка с дыркой на ситцевых мехах. Говорят, когда Устя начинает играть, из дырки этой, как из скворечника, вылетают птицы – волшебные Сирины и Алконосты.

Два старика остановились – борода к бороде. Оба глуховатые, кричат:

Казнить как будто сёдня будут?

Ой, навряд ли, кум!

Пошто?

Царь больно мягкий. Нам потверже надо бы. А то мы совсем распоясаемся!

Нет, моя опоясочка туго затянута!

На другом конце площади – другой разговор.

Будут казнить, только не сёдня. Палача поджидают.

Какого?.. Дурохамца, что ль?

Нет, заморыша этого... Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы. А может быть, ё... об углы?

Рядом – баба в нарядном платке.

Мужики, не лайтесь!

Кто? Марфуша, Бог с тобой! У палача такое имя с отчеством.

Ты меня за дуру не держи!

– Да у меня и руки-то в карманах. Буду я хватать тебя, ага. Размечталась.

Вокруг захохотали. Смущенная баба исчезла в толпе. Угловое окошко открылось в белокаменных царских палатах. Кто-то глазастый сразу приметил:

Ребята! Царь у окошка стоит!

Волнуется, батюшка.

Известное дело... Тут, бывалоча, куренку башку срубить, сварить похлебку – и то переживаешь, сердцем маисся. А ежели человеку? Он хоть и разбойник, а всё ж таки человек.

Верно глаголешь.

– Ага... Дурохамцы да захребетники будут нам пакости строить, а мы их будем по головке гладить! Слюнтяи! Рубить надо! Секир башка и всё тут... Мягкий царь, беда.

Голоса отдалились, пропали в переулках. Где-то подковы постреливали по сырому булыжнику – повозка через площадь прокатилась.

Оглашенный Устя гармонику поправил за плечом. Серебристую бороду расчёсал костяным гребешком, приговаривая, будто вычесывая горькие слова из кудрявой кудели:

– Эх, сынки зелёные! Как не понимаете? Если царь своим народам станет головы казнить без сожаленья, да без сомненья – голов народных не напасется на такого царя. «Мягкий», говорите? Будет вам когда-нибудь и твёрдый. Слезами не размочите твердого того. Помогните.

2

Утренняя Башня – камень, розовый кварцит. Воздух на рассвете розовеет кругом Башни, пересыпается огневыми пылинками. Башня смотрит на восток большими Царскими часами. На циферблате семнадцать частей. Он потихоньку вращается. Неподвижный золотой «луч солнца», прикрепленный сверху циферблата, – часовая стрелка.

Царь Грустный I замер у раскрытого окна. Задумчиво смотрит на красновато-пепельную тень, откинутую башней наискосок через площадь. Старается не думать, но... Тень похожа на рубаху палача. А сырой булыжник вдалеке сверкает пролитой кровушкой.

Слуга подходит сбоку.

Извините, Ваша Светлость. Вы просили бумагу с пером...

Благодарю. Оставь.

Легкий поклон, шуршание шёлковых одежд. Слуга скрывается за боковой дверью, не отличимой от рисунка на дорогах шпалерах. Только осталось в воздухе благоуханье, но Ветер вылизал его через мгновение.

Ветер в окошко ворвался, повинувшись короткому царскому жесту. Они давно друг друга понимают без лишних слов. Царь походил по кабинету. Принахмурился... Ветер тут же подхватил гусиное перо, покружил над столом и стремительно кинул в окно... Царь даже бровью не шевельнул... Ветер свистнул, смелея. Забрал со стола казённую бумагу с золочёным царским вензелем.

– Хватит! – одёрнул государь. – Ты себя ведёшь, как дуροхамец!

Ветер затих, прозрачною рукою обхватив занавеску.

На Утренней Башне заговорили часы – молотки с молоточками. Перезвоны посыпались дивным серебристым зерном, засеая горы и долины, а тихий малиновый бой подголосков падал на кусты малины в государевом саду; малина вырастет волшебной ягодкой; на языке будет позванивать такая ягодка, рождая чудную мелодию.

Прохлада плещется в окно, трезвит горячий лоб царя.

Ветер выскочил в сад. Голубыми пружинами ветки в саду закачались. Волны в реке поднялись на ребро. Белый парус поклонился Ветру... Слышен приглушенный ропот рыбаков – ругаются, едва не опрокинувшись. Только молодец в черной косоворотке, стоящий на руле, смеётся, белыми зубами светит издалека и хриловатым голосом поёт:

Глубока Хрусталь-река, широка,
Растолкала, раскидала берега,

Я па лодочке хрустальной поплыву
Да с весёлою русалкой заживу...

Песня отвлекла царя – песня увела к тем временам, когда Святогрустное Царство только-только зарождалось.

Человек, впервые появившийся на этих берегах, обнаружил в реке хрустально звенящую, хрустально прозрачную воду. И насчет названия реки человек не мучился – назвал ее Хрустальной. Короче говоря, Хрусталь-река. С глубокой осени до первых вешних солнцепеков река была хрустальная в буквальном смысле слова: здешний лед поражал чистотой. Мастера уходили подальше от берега, рубили, пилили холодный хрусталь и такие игрушечки мастера потом из него – залюбуешься. Поначалу эти игрушки таяли с приходом вешнего и летнего тепла, но со временем люди изловчились и придумали защиту ледяным хрусталям. То ли заговорами они воздействовали, то ли какими волшебными припарками-приварками, это не важно – важно то, что ледяные хрустали теперь можно было вывозить и зимою и летом: хоть на ярмарку в Царь-Город, хоть в Далёкое Заморье, хоть в Туманное Заокее. Да и не только игрушки.

Хрустальные стёкла здесь появились очень рано.

В то время, когда люди, живущие за морем – заморыши; и в то время, когда захребетники – люди, живущие за хребтами – глядели на белый свет сквозь бычьи пузыри и смутные слюдяные оконца, – святогрустный мастер в свои дома вставлял хрустальные тонюсенькие стеклышки. А если мастер был высокого полёта, он творил чудеса: мог сохранить и золотую рыбку, замороженную в стеклышко; и водяную лилию; и даже капельку речного жемчуга. Так что эти окна в резных и расписных весёлых ставнях были похожи на прозрачные картины.

Вот такая Хрусталь-река протекала через всё великое пространство святогрустной земли.

...А хрипловатый голос между тем продолжал свою песню, наполненную грубоватой удалью:

Под широкою хрустальною волной
Я себе дворец построю мировой,
Буду я свою русалочку любить,
Буду водочку хрустальненькую пить.

Царь отошёл от окна, усмехнулся, думая: «У всех свои заботы. У каждого по горю, да не поровну. У одного похлебка жидка, у другого жемчуг мелок... А хорошо, наверное, было бы сейчас облачиться в простое рубище, забраться в этот баркас, пропахший рыбой, и плыть себе и плыть... Да! Пора в дорогу собираться. Грустина пускай тут наследника вынашивает, а я поеду. Надо!»

Чуть слышно зазвенела занавеска с алмазными и жемчужными кистями. Это Ветер поднял гусиное перо, лежащее в мокрой траве за окном, – возвратил царю на стол. Росинка блеснула на боковине пера, подрагивая, точно живая.

Царь Государьевич придвинул кресло. Перекрестился, глядя на икону, озарённую светом негасимой лампадки. Вдохнул. Бумагу взял, перо.

Задумавшись, он медленно – точно во сне – стал рисовать высокий и широкий парус, лодку, силуэт рыбака. Потом спохватился, краснея, как мальчик, застигнутый за проказами.

3

Катится, катится время колесом-циферблатом на Утренней Башне. Пухнет, пухнет голова царёва думами. Терзается душа сомнениями. Неспроста седина посолила молодые виски, а морщины прочертили переносье, глубоко взволновали высокий чистый лоб.

Говорят, что надо жить на белом свете веселее, проще. Говорят, надо на жизнь глядеть как бы со стороны – глядеть и улыбаться. Хорошо бы освоить весёлую эту науку, думал царь, склоняя голову над рабочим столом.

Бумага распростерлась – слепила снежной степью. Перо с чернильной каплей на конце то и дело замирает в воздухе. Дрожит перо – знобит его. А когда перо касается бумаги и что-то там выводит каллиграфическим почерком – вдруг чернильные брызги летят во все стороны; чёрными воронами гнездятся на бумажном снегу...

– Нет, не годится, – бормочет государь.

Наполовину готовый смертоносный приказ хрустит в кулаке. И через минуту бумага становится пеплом на золотом подносе. Голубовато-зелёные кольца ядовитого дыма Ветер легко покрутил по столу – укатил в раскрытое окно.

Царь вздохнул. В груди становится просторней – грех с души свалился, вот и хорошо, и слава тебе, Господи.

– Казнить нельзя помиловать, – вслух подумал государь. – Пора поставить точку в этом деле. Только где поставить? Кто подскажет? Казнить нельзя. Точка. Помиловать. Так? Или нет? Казнить. Точка. Нельзя помиловать. Так лучше?

Терзаемый сомнениями, он глубоко макает гусиное перо в чернильный омут и склоняется над приказом о помиловании. Губы трогает улыбка – розовые ямочки вдавились на щеках. И становится ясно, какой он ещё, в сущности, большой ребенок. Да он и сам порою это хорошо осознаёт.

«Разве так царюют? – подумал он, оглядывая стол, заваленный бумагами. – Вот передо мною древние папирусы. Бери пример. Огромные курганы, пирамиды из человеческих отрубленных голов – на устрашение врагам! – по приказу полководца Умерлана сооружалась на бескрайних просторах. А вот ещё пример – воинственное племя дурахамцев шагало и шагает дорогами такого варварства, перед которым даже кровожадный Умерлан выглядит младенцем... Бр-р! Читать противно!»

Царь отодвинул папирус. Да, примеров много, но только сердце почему-то не вдохновляется подобными «подвигами».

Казнить легко. Помиловать труднее.

«Делай то, что труднее!» – отец говорил, завещая корону. А ещё он говорил: «Когда тебе не хочется делать что-то хорошее, доброе людям – подумай о том, что Христос не гнушался даже ноги мыть своим ученикам!»

Царь Грустный I повеселел, рисуя под приказом о помиловании свою роскошную подпись. Теперь оставалось печатью прихлопнуть. Нужно только дернуть шёлковый шнурок – приказать помощнику принести секретный ларчик.

Рука потянулась к шнурку.

Муха в окне промелькнула, жалостливо жужжа. Села на свежую роспись царя – поползла, размазывая черноту чернила... Казённая бумага была испорчена.

Царь Государьевич нахмурился, думая сделать внушение Мухобойщику-Мухогробщику и в то же время втайне соображая, что муха подвернулась очень кстати.

Опять сомнения навалились на царя.

Казнить нельзя помиловать.

– Где поставить точку? Кто подскажет? – спросил он, потирая утомленные виски.

Тишина в кабинете. Только муха взлетела с бумаги – жужжит.

4

Слуга появился, мерцая золотыми галунами, отражавшими солнце. Постояв на пороге, он смущённо покашлял, обращая на себя внимание.

– Ку-ку! – изображая кукушку, робко сказал он, потоптавшись около двери. – Ку-кушать подано, Ваша Светлость!

Оторвавшись от новой бумаги, ещё не исписанной, царь посмотрел в недоумении, с трудом соображая, что за «кукушечка» сюда прилетела.

– А-а, это ты? Иду, иду. Уже ушёл.

Терёшка тревожно осматривался. На рабочем столе – документы, которые слуга видел и видит почти каждый день. На этих документах все мало-мальские пометки царя, сделанные карандашом, чуть позднее подвергаются лакировке – покрывают лаком, чтобы сохранились на века, для потомков. Это пухлые папки Терёшка пропускает мимо глаз – не интересно. А вот эта груда пепла, лежащая в пепельнице и рядом – вот это уже любопытно. Что это такое? И почему-то глаза у царя, потерявши привычную синь, приобрели утомленно-пепельный оттенок, «задымились» душевной мукой. Слуга удивился, качнул головой:

Будто пожар здесь был!

Ты угадал, Терёшка. Здесь горела человеческая жизнь, – многозначительно сказал государь. – Но я сумел спасти!

Изумленный Терентий чуть наклонился, посмотрел под стол:

– Где? Какая жисть?

Думая о чём-то своём, государь промолчал.

В кабинете пахло дымом. Слуга поднял обгорелое гусиное перо, валяющееся у окна. И снова поглядел на пепельный стожок, на царя.

Ветер занавеску пошевеливал и доносил до слуха песню птиц... Над крышами Царь-Города проплывала стая гусей-лебедей. Грустные клики падали с небес. Голубоватые тени вереницей протянулись по мокрому двору, перескочили белозубую кремлевскую стену.

Обгорелое перо неожиданно зашевелилось в руке Терентия – пролетело через кабинет и скрылось в распахнутом окне. Слуга рванулся – догонять. Нога поскользнулась на воощеном паркете... Он замахал руками, словно тоже собирался улетать с гусями-лебедями.

Царь улыбнулся.

Поймать? – крикнул Терентий, находя равновесие.

Не надо. Птица любит волю, – ответил царь, с улыбкой наблюдая за пером.

Дверь кабинета захлопнулась.

Шаги царя затихли на паркете вдалеке.

«Чудной какой-то стал, – сказал себе Терентий, пожимая плечами. – Рассеянный, туманный. Какая муха цапнула его? Или это потому, что Августина... Говорят, она того... на сносках!»

Слуга увидел странную муху, ползущую по краю стола. Должно быть, она побывала в чернильнице – чёрный след за ней тянулся по золотому узору.

«Отравленная муха, не иначе! Вот она-то, однако, и цапнула нашего царя-батюшку! А Мухогробщик на что? Куда он смотрел?.. Тут работаешь, работаешь не подкладая рук, а эти дармоеды ничего не делают, тока награды на грудь цепляют!»

Терёшка стал наводить порядок на просторном рабочем столе.

Глава пятая. Наконечник поющей стрелы

1

Царица не пожаловала к завтраку – «чаю покусать» – недомогала. Странное дело, но многие знали уже (не знали, так догадывались) о причине «долгожданного недомогания». Переглядывались, пряча добрые полуулыбки: царский двор давно мечтал наследником обзавестись; так что пускай августейшая Августина лежит себе и «недомогает на здоровье».

В столовой тихо. Ждут государя. Голодную слюну глотают, изредка о чем-то перешептываясь.

За дальней шторкой иногда волнами проходит еле уловимое движение. Бедняжка Доедала прячется – здоровенный балбес, разжиревший на царских объедках (царь не знал о нём).

Бедняжка Доедала с голодухи дырку прокусил в тяжёлой шторе. Поглядел на столовые часы, украшенные флейтами и трубами. По времени пора уже трубить отбой – завтрак должен был бы закончиться, а на столах еда ещё не тронута... Голодное брюхо начинает громко возмущаться. Бедняжка Доедала куксится. Как бы не услышали, не выгнали взащей.

2

Царский шаг по столовой раздался громогласным чеканом – эхо загуляло по высоким просторным углам. Бедняжка Доедала снова шторку в зубы затолкал – на этот раз чтоб не икнуть. Замер, выпучив глаза и обхватив живот руками; боялся, как бы не заурчала одичавшая от голода утроба. (Странно то, что перед самым приходом царя сюда нагрянул Охран Охранович, проверил все углы, под стол заглядывал, за шторы – и ничего подозрительного не обнаружил).

Придворные сели за стол. Перекрестились. Белые салфетки подоткнули под горло.

Первым блюдом оказались жареные лебеди.

– Что это? – Царь помрачнел.

За столом растерялись.

– Дичь, Ваша Светлость... Э-э... Ваше любимое кушанье.

– Моё? Неужели? – Царь так спросил, что все засомневались в его любимом кушанье: может, перепутали? Неловкое молчание возникло за столом.

– Так, может быть, Вам надо... – робко начал один из придворных.

– Надо сказать охотникам, пусть прекращают, – перебил государь. – Птица в небе хороша, а не на блюде.

Митрополит, сидящий рядом, засопел. Растерянно уставился на государя. Пухлой рукой приподнятая вилка с черенком из горного хрусталя задрожала возле ароматной лебединой корочки: сверкающие зубцы потыкали по доньшку, поклевали по стенкам агатовой посуды. Пустая вилка мимо рта поехала – чуть не воткнулась в ухо митрополита.

Глаз не выткните, ваше святейшество, – заметил государь.

Ась? – Митрополит смутился, вилку отложил.

Кушайте, кушайте. – Царь вздохнул, поднимаясь.

А вы?... Куда же вы?

Святогрустный венценосец помолчал, глядя в пол.

Аппетита нету. Извините, что заставил ждать.

3

Восходящее солнце уже ярко било в глаза, полным кругом обозначившись над горами. Царь поднял десницу – подломил некрепкие лучи. Залюбовался лебединой стаей. (Это была уже другая, многочисленная).

Гортанными криками наполняя долину, птицы величаво и стройно уходили за Хрусталь-реку. Широкий клин рассыпался белой цепочкой и пропадал в рассветных туманах, окутавших берег.

Неподалеку стоял Звездочёт Звездомирович. Ждал удобного момента для доклада.

Царь видел краем глаза – повернулся к нему и спросил:

– Как дела? Всё в порядке?

Звездочёт замялся.

– Так-то да... А так-то нет.

Государь улынулся одними губами; глаза оставались серьезными.

Ответ, достойный дипломата, а не Звездочёта. Ну, говорите! Что? Что такое?

Тринадцатый знак Зодиака над нами...

Тринадцатый? Это который? Напомните.

Змееносец!

– А-а, вспоминаю... Идите... Хотя, нет. Минуточку.

Святогрустный венценосец понимал, что знаки Зодиака существуют только в воображении. И все-таки настроение было отравлено. Юный цесаревич – старший брат – был зарезан много лет назад во время открытия на небе тринадцатого знака Зодиака. Можно было думать, что это лишь совпадение... Но... проклятый Змееносец не первый раз уже дает знать о себе самым нехорошим образом.

И вдруг возникло непонятное желание: увидеть того преступника, поднявшего руку на цесаревича.

Где он? – Царь объяснил, о ком речь.

На Столетних Стонах.

А это что? Напомните.

Рудник. В тайге.

Живой ли он? Разбойник-то? Звездочёт глядел на небо. Спыхватился.

А? – сказал, вздрагивая. – Живой? Не знаю. Можно туда послать гонца.

Не надо. Просто вспомнилось.

Вряд ли живой, – рассуждал Звездочёт. – Каторга все-таки... Да и времени сколько прошло!

Да, да... А как он прозывался?

Разбойник-то? Самозванцев, кажется, фамилия. Самозванец, короче.

Ну, конечно. Как я мог забыть?

Над крышами царских палат опять зашелестели крылья перелетной стаи.

И вдруг послышался поющий странный звук, нарастающий со стороны перевала.

Царь Государьевич насторожился, глядя в небеса.

– Наконечник поющей стрелы, – подсказал Звездочёт. – Мы называем её «Стрела Умерлана», потому что от неё всё время кто-нибудь да умирает.

Пошевелив нахмуренной бровью, царь негромко пробормотал:

Интересно, кто на этот раз?

Лебедь. Здесь и думать нечего. Как только вы скачали не стрелять лебедей, так сразу же над перевалом заблестел наконечник поющей стрелы.

Почему?

Да так она устроена, чертовка. Свою силу и власть постоянно доказывает. Кого хочу, мол, того и казню. Вы – царь на земле святогрудной, а она – царица на земле и в небесах.

И никак нельзя призвать её к порядку?

Пробуем.

Плохо пробуете, если она до сих пор тут хозяйничает.

Наконечник поющей стрелы врезался в лебедя – крови плотнул и затих, молниеносно улетаючи восвояси. Встречный ветер скомкал, опрокинул убитую птицу... Белым лёгким облачком лебедь мягко упал на крышу царской палаты. Перья закружились в воздухе, оседая на ветках сада.

Капля крови задрожала на краешке кровли...

4

Беспокойный долгий царский день догорал в привычных трудах и заботах на благо страны.

Царь утомился к вечеру. Поехал в тарантасе к своему любимому Лазурному Заречью. Побродить хотел по берегу в дубах. Здесь хорошо и думалось, и отдыхалось. Поехал не один – с Грустиной, побледневшей за последнее время; новая жизнь, зарождающаяся во чреве, сосана соки из тела царицы. Но бледность ей, казалось, была очень к лицу. Августина выглядела не утомленной, а напротив – жизнерадостность мелькала в глазах, улыбке.

И опять над головою царь услышал наконечник поющей стрелы. И опять сбитый лебедь закружился в небе – рухнул прямо под ноги коней; перепугал и упряжку, и Фалалея, царского кучера.

Августина вышла из кареты, посмотрела на судорожно бьющуюся птицу, лежащую в лужице собственной крови. Отвернулась – и опять в карету. Умиравший лебедь показался ей недобрый знаком.

Молчали, возвращаясь во дворец. Свежей закатной кровью захлестнуло западные склоны горизонта.

Рука Августины подрагивала в руке царя.

Ну что ты, что ты?

Страшно... отчего-то.

Успокойся, Грустенька.

Приехали. Царь проводил ее в опочивальню и подумал: «Кто бы меня успокоил. И что это за диво дивное такое – «Стрела Умерлана»?

5

Стемнело. Поздний вечер звезды высыпал на горы, на доли и прямо на крышу царской палаты. Стоя у раскрытого окна, государь невольно обострялся ухом: не зазвенит ли где-нибудь в потёмках наконечник поющей стрелы?

Перед ним лежала чистая бумага, ждала приговора.

И снова пухла голова царева думами. Сомненьями душа терзалась. А потёмки подступающей ночи представлялись потёмками жизни. «Как быть? Что делать? Казнить разбойника или помиловать?»

Отец – на смертном одре – просил его быть строгим, но справедливым. Так в чём же справедливость? В том, чтобы казнить? Или в том, чтобы помиловать?.. Что ни говори, а сам отец помиловал того разбойника, поднявшего руку на старшего сына.

И снова появилось болезненное, тайное желание: поехать на Столетние Стоны, увидеть разбойника. Что с ним? Раскаялся? Нет ли?.. А этот, который в темнице, как теперь он? А что если пойти к нему в темницу? А? Посмотреть в глаза, поговорить, узнать, кто он такой. Говорят, что – дуροхамец. А сам-то разбойник себя выдает за святогрустного человека. Так, может быть, и правда святогрустный? Может, сбился с пути господнего? И может быть, можно ещё наставить его на истинный путь?

Царь поглядел па Распятье, мерцающее над золотым огнём лампадки. И снова он услышал отзвук покойного отца: «Когда тебе не хочется делать что-то хорошее, доброе людям, – подумай о том, что Христос не гнушался даже ноги мыть своим ученикам!.. В каждом человеке – царь небесный. Понтий Пилат когда-то не помиловал – и не стало Христа!»

Отойдя от окна, царь подёргал шёлковый шнурок.

Вошёл Терентий. Заспанный, помятый. Пушинка из подушки застряла в волосах.

Скажи, пускай в подвал, в темницу подадут корыто с водою. Скажи, приду сейчас. – Царь помедлил. – И ещё скажи, пусть приготовят для того разбойника чистую рубаху... Ну что ты раззевался? Рот порвешь!..

Простите, Ваша Светлость. Времени-то скоко... Работаете, работаете не подкладая рук... Что там ещё сказать прикажете?

Царь неожиданно вспылел:

Ничего! Иди, спи! Раззевался тут... Раззява!

Терёшка в ухе пальцем покопался.

То есть, как это прикажете понять? Не ходить в подвал, в темницу?

Нет, я же сказал... – Царь отвернулся. – Исчезни с глаз долой!

Слуга улетучился – легкий, бесшумный, как тень. Тихохонько прикрывши дверь, он постоял за порогом, плечами пожал и зевнул. Вернулся к себе и прилёг на топчан, ладошки сделал «лодочкой» – под голову подсунул, блаженно жмурясь. А через минуту бедный слуга едва не рухнул на пол – царь снова дернул шёлковый шнурок, привязанный к колокольчику.

На этот раз Терентий вбежал в опочивальню, как на пожар.

Чего изволите?

Ты на какой подушке спишь?

Терентий растерянно хмыкнул, подумав: «Тут, пожалуй, поспишь!»

– Как «на какой»?.. На мягкой. Не камень же под голову толкать.

Царь помолчал, наблюдая, как слуга царапает висок. Пушинка от подушки, заблудившаяся в волосах, упала под ноги Терешки; он заметил, угрюмо поднял, покатал между пальцами, соображая, что ничего срочного не предвидится. Можно, стало быть, расслабиться, зевнуть.

– Принеси-ка мне подушку из заячьей шерсти! – приказал государь.

Зевком раскоряченный рот слуги так и остался – широкой дырой. Терентий спохватился – ладошкой прикрыл.

Заячья? Подушка? Не знаю, Ваша Свет...

Ты, однако, сам на ней храпишь! – Царь сверкнул сердитыми глазами. – Живо принеси! А то, клянусь короной, ты у меня дождёшься!

Не на шутку перепуганный Терентий засеменил, отбегая к порогу. За дверями остановился. Опять зевнул, пожал плечом.

– То корыто с водой принести, то подушку в корыте...

Он запалил фонарь, вошёл в хоромину, где пахло старой пылью, деревом и одеждами. Сундуки поблескивали медными обивками. Пудовые замки – в виде каких-то звериных оскаленных морд – висели на сундуках. Мышь проскользнула под ногами, пискнула. Терёшка

замахнулся на неё... Качнувшийся фонарь потянул причудливые тени по углам, потолку... Терёшка огляделся и руку протянул. Погладил шубу – искорки из-под руки посыпались; того и гляди, чтоб не вспыхнуло пламя. Тут были всевозможные собольи меха. Лисье рыжее «золото». Потом Терёшка покопался в горах шерсти, в её великом разнообразии: ангорская, верблюжья, баранья...

Крышка сундука, которую Терёшка приподнял, так противно заскрипела, что слуга поежился, крестясь: «Как гробовая крышка!» Он чихнул, едва не погасив огонь – фонарь стоял поблизости.

Подушка из заячьей шерсти хорошо помогает страдающим бессонницей. Так уверяет Звездочёт. Царь не очень-то верил, но делать нечего, надо попробовать.

Принимая подушку из рук Терентия, он спросил:

А это точно – заяц?

Да как сказать? – Слуга зевнул. – Не обдирал, не знаю. Я посмотрел шерстинки, вроде заяц.

Ой, гляди, а то лишь бы подсунуть...

Да заяц, заяц. Точно.

Святогрустный венценосец согласно покачал головой.

– Хорошо. Ну, спасибо, Терёшка. Ступай. Спокойной ночи.

Слуга обречённо вздохнул:

– Да уж какой там! Работает, работает не подкладая рук...

Оставшись один, Царь Государевич сунул «зайца» под голову. Глаза закрыл. Затих. Но ненадолго. Поминутно он вертелся на кровати с боку на бок. Так вертелся, как будто не кровать, а сковородка, постепенно раскалявшаяся снизу. В конце концов, он нехотя поднялся. Поколотил подушку, помутузил, покряхтывая. Вспомнил Звездочёта и пробормотал:

– «Помогает, помогает заячья подушка!..» Да где же она помогает? Не спится, хоть тресни!

А потом он засмотрелся на какую-то яркую звездочку. И душа в нём словно бы стала наполняться этим ярким звездным светом – в груди становилось легко и просторно. Царь чему-то улыбнулся краешками губ. Глубокая морщина с переносицы ушла. Светло-соломенные брови разгладились.

Над перевалом снова за клубились облака и тучи. За окошком снова молния распоролла темноту. Но царь уже не слышал ни раскаты дальнего грома, ни барабанную близкую дробь крепких капель...

Глава шестая. Пропала царская печаль

1

Солнце в горах закончило работу. Последний лучик сверкнул на грани гор, подзолотил кучерявое облачко над перевалом... И поползла темнота по долинам, туманы серебристой пряжей опутали деревья, пригорки.

В Царских Палатах в это время охрана делала привычный обход: закрывала двери, замки на сундуках, прятала шкатулки, перья и бумаги, оставленные Царём Государём.

– А ты чего торчишь тут... вёрстовым столбом? – удивился начальник дворцовой охраны.

Ларион – молодой гренадёр – побледнел. Стоял навтыжку перед начальником – струной тянулся, голосом позванивал:

– Пропала царская пе... пе... – Кадык ходил по горлу, застревал на середине, не мог протолкнуть необходимое слово. – Пе... пе... печаль пропала!

Охран Охранович усами дернул:

Царская печаль пропала? Славно. А чего же ты дрожишь?

Печать пропала!

Теперь настала очередь побледнеть матёрому начальнику.

Ты погоди, не тарабань зубами, а то щас врежу, нечем будет ни стучать, ни жевать! Говори ладом.

Я шкатулку закрывал, а там... печати нету... какое-то копыто поросячье в золотой оправе. Сатана свою печать оставил, а царскую забрал!

«Тигровый глаз» охранника метнулся к небесам – сквозь потолок, – ища поддержку и опору. Люди в минуту отчаянья хватаются за голову, за сердце – кому что дорого. Охран Охранович хватался за усы. Жёсткие дремучие усы старого воина заслуживали песни или хорошей поэмы. Эти усы неоднократно выручали зимою в походах, укрывая шею, грудь и даже поясницу. Грели ничуть не хуже козьего пуха, из которого барышни вязали солдатские шарфики.

Старый вояка разволновался. Что-то зарычал. Усы трещали между пальцами. Волосинки выпадали под ноги, сверкая серебристой проволокой.

Печать?! – гремел он. – Царская печать?! Ты представляешь, каналья, что это значит?!

Смертушка... Смерть...

Правильно. Смерть! Твоя!

Ларька продолжал стоять навтыжку. Трясся так, что пуговики и наградные кресты вот-вот начнут отскакивать на паркет...

Проспал? Сознайся? Почему так поздно пришёл докладывать? Проспал?

Никак нет!

Молчать, каналья!

Служивый протянул ему раскрытую ладонь.

Что ты суешь мне?

Спички, ваше благородие...

Здесь не курят, пора бы знать!

Я специально спички в глаза вставлял, чтобы не спать на посту.

Я их тебе в другое место вставлю. – загрохотал начальник. – Вставлю и зажгу! Тогда поймешь... Научились дрыхнуть с открытыми глазами!

Подбородок старого воина перепачкала сабля во время штурма. Багровые шрамы белеют в минуту гнева и лицо приобретает совершенно зверское выражение, вот как сейчас. Он поца-

рапал шрам и отвернулся. Кругами походил возле гренадёра, стараясь не топтать награды – две или три упали всё же, как падают листочки дерева, трясущегося под ветром.

– Я человек суровый, но справедливый, – напомнил он, успокаиваясь. – Если печать не сыщется, будешь служить в Хренодёрском Полку. Подёргаешь хрену в бескрайних полях, будешь знать...

– Помилуйте, я лучше застрелюсь!

– Раньше надо было это делать!

– Я хотел, но побоялся разбудить государя.

А где патроны с бесшумным порохом?

Вы забрали вчера, приказали только громким порохом палить, чтобы тревогу слышно было...

Охран Охранович покосился на пистоль и проворчал:

Мог бы и себе один патрон оставить.

Да кто же знал?

– Вот и пойдёшь за это в Хренодёрский Полк!

Ларька молчал, краснея от стыда.

2

Гренадёрские полки – отборные солдаты, могучие, высокорослые. Охрана государева. А если кто проштрафился – иди в Хренодёры; так тут уже давно заведено. Наказание постыдное и унижительное. Хренодёры сеют редьку и петрушку, дёргают хрен, посаженный в бескрайнем поле; готовят фураж для кавалерии. Самые отпетые молодчики – попадают и такие – служат пугалом на огородах.

Охран Охранович прекрасно понимал, что первый загремит в позорный полк – ему, как начальнику, скорее всех и больше всех достанется. Побреют наголо. Дремучие усы отрубят на пеньке, при большом скоплении народа. На плацу обычно это делают. Вострыми саблями рубят. А потом эти сабли ломают над головами проштрафившихся. Господи, Боже ты мой! Он представил, что это будет за лицо... Без усов это уже не лицо, не рожка и не харя, а какой-то голый срам... Охран Охранович страдальчески охнул, снова хватая себя за длинные жёсткие пики усов. «Тигровый глаз» запыхал тоской, тревогой. Рука поискала рукоятку пистоля, торчащего из-за пояса.

– Хренодёр несчастный, – пробормотал. – Подымай свои пуговицы да медальки. По всему дворцу намусорил. Кто только тебя наградил?!

Трясущимися пальцами сгребая с паркета лакированные серебряшки и золото, молодой гренадёр отвечал:

Вот эту вот... и эту, ваше благородие, вы самолично вручить изволили.

Ну? – Звероватый глаз охранника неожиданно подтаял нежными воспоминаниями. – Так мы с тобой рубились рядом? Ай, сынок! Славное времечко было! Чего же ты раньше молчал?

– Так вы же рта открыть не дали...

– Открывай, открывай! – Охран Охранович обнял его. Усами щеку поцарапал и глаз едва не выколол солдату. По плечу похлопал дружески – ключицу парню едва не сломал.

«Здоровый, медведина, хотя и старый!» – Ларион поморщился, пытаясь улыбаться.

Сынок, тебя как звать?

Ларион. Короче, Ларя. Ларька.

Ах, Ларя, Ларя! Я кого ни попадая боевым крестом не награждаю. Ни-ни. Я человек суровый, но справедливый. Ладно, хватит обниматься, Ларя. Пойдем искать печаль... Тьфу, дьявол! Сбил ты меня с толку. «Печаль, печать». Пойдем живее.

Ларион приободрился, пальцем показал в далёкий угол:

Я там нашёл кое-что.

Ну? Докладай, не томи.

Следы. Только они, я извиняюсь, порослячи...

Как так? Что за вздор?!

Бедняжка Доедала наследил, я думаю.

Болтай мне тут! – прикрикнул Охран Охранович, но спохватился, поубавил «железа» в голосе. Руку на плечо солдату положил. – Пойдём, проверим. У страха глаза велики. Испугался, Ларя? А вот я не боюсь. Почему? Угадай. Потому что у кого два глаза – страх в глазах двоится. А у меня... Понятно?

И он расхохотался, довольный своею сказкой, – усы по плечам затряслись. Расхохотался и меру забыл: так сильно хлопнул Лариона по плечу – нитки на мундире с треском лопнули; между швами спрятанная пыль наружу порскнула.

Ларион побито улыбнулся. Облегченно вздохнул. Самое худшее, кажется, миновало. Он знал свирепый нрав начальника дворцовой охраны.

Глава седьмая. Следы на потолке

1

Анфилады. Коридоры. Двери, двери... Каблуки в тишине раздаются, как выстрелы, – коротко, сухо, отчётливо. Ударяя в дубовые плашки паркета, каблуки «размножаются» – звук хаотично хороводит по углам и высокому потолку, разнряженному лепниной: ласточкины гнезда, серпантинчатые ленты дурнопьяного хмеля, виноградные кисти, ангелочки с крыльями и золотыми стрелами.

Огромный план Дворца Охран Охранович знает наизусть. С завязанными глазами может спокойно ходить. А молодой гренадёр заблудился уже: бестолково смотрит по сторонам, забывая подобрать нижнюю челюсть, отвисшую от изумления: такая роскошь всюду...

– Стой! Теперь налево!

– Есть!

– А теперь направо!.. Разувайся!

– Чего?

– Разувайся, говорю. Оглох?

Они приблизились к центральному входу. Два солдата как два высоченных живых косяка – стоят возле двери, потолок подпирают своими гренадёрками, форменными шапками. У порога – шкуры соболей, чуть переминаются дорогими искорками.

– Дальше надо босиком, – объяснил Охран Охранович. – А то солдаты могут ноги выдернуть, не поглядят, что я начальник. Закон для всех один.

Ларион смутился. Потянул один сапог, другой – никак.

– У меня портянки к сапогам присохли, – шепотом признался. – Я, когда обнаружил пропажу печати... я сначала вспотел от страха, а после кидануло в жар. Вот они и присохли, не отодрать!

Старый вояка подёргал усами, принюхиваясь и глядя на сапоги Лариона.

– Ладно, в крайнем случае, надо сафьяновые чехлы натянуть поверх твоей обуви, чтобы дворцовое «зеркало» не повредить на полах... Ты осторожнее, а то башку проломишь тут!

Дальше они поплыли, а не пошли. Сафьяновые «лыжи» скользили, как по маслу. Того и гляди, чтоб не грохнулся, не подраскинул мозгами на безбрежном паркетном озере, ледяно сверкающем при свете нарастающего утра.

Тихо, пустынно. Пахнет помещением, где недавно было скопление народу.

Видать, пировали всю ночь! – догадался молодой гренадёр.

Угощали. Ослов заморских.

Послов?

А я что говорю? Опять приехали просить чего-нибудь.

А кто приехал на этот раз? – поинтересовался Ларион.

Да эти... Как их? Наглечане.

Англичане?

А я что сказал?... Наглечане, дуροхамцы. – Начальник охраны носом повёл по сторонам. – Я их по запаху чую.

Так, может, кто-нибудь из них там наследил? Я подумал, поросичий след. А он, может, ослиный?

Разберемся, Ларя. И наглечан, и дуροхамцев, и ослов – всех выведем на чистую воду!.. Фу-у, какой душок здесь, черт бы их подрал!

Дворцовые залы всю ночь озарялись десятками, если не сотнями сальных свечей, посаженных в медные шандалы – подсвечники – в серебряные паникадила, украшенные фигурками людей, зверей и птиц. Терёшка и другие слуги, проветривая, уже распахнули створчатые окна. По углам подтаивал предутренний сумрак. Свет по полу разливался бледно-голубыми ручейками и лужицами. На стенах, обтянутых бархатом, атласом и парчой, проступали рисунки и словно бы заново ткались удивительные узоры. Ветер зашептал в саду под окнами. Ядреным яблоком закатился в комнату крепкий аромат промокших яблоневого стволов... Муха просверлила тишину... Из-за шторы появился Мухогробщик – взмахнул своим орудием и скрылся. И снова тихо, сонно. Не Кремль, а – Дремль.

– Видишь? Здесь даже муха не пролетит! – Охран Охранович усмехнулся, довольный. – Ну? Где тут поросёнок наследил? Показывай.

– Вот здесь. И там – на потолке.

– Ты думал, что говоришь! Поросёнок? На потолке?

– Сами увидите.

Поначалу они подошли к непонятным каким-то пятнам, там и тут испятнавшим паркет. Затем воззрились на потолок, богато украшенный лепниной.

– Так, так. Следы? И правда. Но откуда? – сам себя спрашивал Охра, снова приносясь. – От каминной решетки идут. Через каминную трубу пролез он, что ли? Крупные следы. И боров должен быть крупным.

– Крупный в трубу не пролезет.

– Верно, верно, Ларя, говоришь! – «Тигровый глаз» охранника зверовато зыркнул по сторонам. Покряхтывая, старый вояка опустился на колено. Усы обвисли – чуть не до полу. Он пальцами потрогал поросичий след. Сосредоточенно понюхал палец и даже на язык хотел попробовать: красный кончик языка из-под усов подрагивал, высываясь.

Ларион посмотрел на него с удивлением и невольной брезгливостью; губы скомкала гримаса... Охран Охранович заметил это. Спихнулся, поплевал на палец, будто и не думал прикасаться к нему языком. Серый солдатский платок достал из кармана – табачинки из платка посыпались на пол, пороховая пыльца, придорожная...

Дёгтем пахнет, – подытожил он, вставая с колена. Вытер палец, поправил усы. – Теперь понятно, кто в бочки с дёгтем ложку мёду сунул. Тьфу, то бишь, наоборот, ну ты меня понял.

Бедняжку Доедалу нужно искать.

Ты опять за свое? Доедала, надоедала. Заладил. Где это видано, чтобы человек в поросю превращался?

В любом кабаке это видно, – осторожно подсказал Ларион. – Как нажрётся человек, так свиньёй становится. Неужели не видели?

Мне надо бочку выпить, чтобы охмелеть.

Да я не про вас говорю.

Подожди. Дай подумать.

Ларион что-то ещё хотел сказать, однако не решился, глядя в раскалённый глаз охранника. Наверно, где-то в сердце, в глубине души старого воина горела мысль – огнём зрачок палила...

Беззвучно, незаметно шли настенные часы – циферблат вращался кругом стрелки. На часах мерцало медное изображение слона с человеком, сидящим на спине животного. Слон представился вдруг поросёнком, огромным боровом. А человек – рогатое отродье сатаны... Сбрасывая оцепенение, Охран Охранович тряхнул головой – усы по плечам «расплескались».

Откуда поросёнок здесь? – ворчал он, снова рассматривая следы на паркете. – Ослы... послы заморские – это понятно. Ходят все время, копыто протягивают, милостыню выпрашивают. Царь добрый, никому не откажет. Вот что плохо, сынок. Сильно добрые мы!

А разве это плохо – добрым быть?

Хорошо. Но до поры до времени. Вот, например, костерок. Сидишь, грейся, варишь похлебку. Хорошо? Конечно, хорошо. А потом из этого костра – пожар! Плохо? Плохо. Вот так и с добром, когда его шибко много в душе. Дурохамцы уже теперь смеются, пользуясь нашей добротой, а что будет дальше? Сядут на шею, кучу на голову навалят. Ты пока что молодой, зелёный, а созрешь – поймешь, какая пагуба скрывается в очень добром человеке, очень доверчивом... Ладно, Ларя, мы про это посудачим в другое время. Некогда. Поросянок по Дворцу на двух ногах гуляет. И вот что характерно – следы на потолке. Кошмар. У меня даже усы дыбом становятся!

Ларион принюхивался. Запах сальных свечей что-то напомнил ему.

Сегодня ночью поросёнка жарили к царскому столу. Государь сказал, дескать, хватит лебедей стрелять. Вот Поварешкин и взялся...

А ты откуда знаешь?

– Слышал, когда резали. Мимо проходил.

«Тигровый глаз» охранника озарился озорными искрами.

– Зарезали, значит, зажарили, а он поднялся и убежал с золотого подноса. Прямо из-под носа. Так?

Ларион усмехнулся. Почесал за ухом. Медальку на груди поправил. Медалька эта с виду – грош цена ей, кто не понимает, сколько надо смелости в душе иметь, чтобы заработать подобную награду.

Молодой гренадёр все больше и больше нравился начальнику дворцовой охраны. Симпатия, скромница. И вообще...

– Ну, хорошо, пойдём, поищем твоего Доедалу. Покурить бы! Ох, глотка чешется, как покурить охота!

Ларион достал кисет, потянул за цветные тесемки.

Угощаю! – простодушно объявил, протягивая табак.

Сдурел? Ты что?! – Охран Охранович усами дернул, оглядывая богатые стены и потолки.

А-а... Забыл, язви их! Тут же нельзя! – Парень торопливо задёрнул кисет. – Из окошка ветром донесло, я подумал, мы уже на улице.

Короткая улыбка тронула усы начальника. Он загляделся в голубые чистые глаза гренадёра.

В голове у тебя ветер!

Так точно, ваше бродие...

Да какое там «бродие-благородие». Охрой зови, я не гордый. Очень ты мне сына моего напомнил.

А где он служит?

Служит – не тужит! – Подбородок охранника, порубленный вражеской саблей, закаменел в напряжении. Белые шрамы перекосились, подрагивая. – Остался в бою. В прошлом годе посекали дурохамцы... В темноте нагрянули и порубили сонных. Вояки чёртовы. Сноровкой да силой не смогли совладать, дождались, когда уснут. Часовых порезали и войско.

Ларион как будто свою вину почувствовал. Понурил голову. Молчал. Глаза «ковыряли» паркет, выискивая малые щербинки, черточки, оставленные каблуками царя или гостей. Нога Лариона, обутая в сафьяновый чехол, нервно елозила по сверкающим плашкам.

За окошком птица весёлым клювиком расщелкнула синюю тишь. Настенные часы ударили в глубине дворца, голубеющего рассветным сумраком – эхо по углам рассыпалось.

Минутная слабость прошла. Охран Охранович встряхнулся. «Тигровый глаз» опять запылал по-молодецки.

– Поплыли дальше, Ларя. А то скоро царь подымется, печать потребует.

Гренадёр насторожился, поднимая палец и поднося к губам. Ноготь был подстрижен до помидорной мякоти – кинжалом срезал по неосторожности.

– Кажется, кто-то идёт?! – прошептал он, глядя в сторону дальних дверей, мерцающих золотыми кругляшками ручек. – Может, за шторку спрячемся? Вдруг это поросёнок на двух ногах.

«Тигровый глаз» похолодел. Седые брови насуровились над переносицей. Приподнимая гренадёра за грудки, Охран Охранович встряхнул его, опалая сердитым дыханием:

– Никогда за шторками не прятался! Никогда! Ни от кого! Ни разу! Хотя на меня посылали железные колесницы, запряженные боевыми зверюгами!

2

Скрипнули две половинки двери – развели дубовыми крылами. На пороге возник шеф-повар. Пухленький, широкоплечий. Голова почти без шеи: мясистые уши на плечах восседают.

Лицо Поварешкина – благодушное, сытое – всегда было похоже на красно-пропечённый круглый каравай. (Неспроста называли его Сыто Поварешкин).

А сейчас лицо это было похоже на трясущийся кусок белого рыхлого теста. Глаза – черносливины. Сильным страхом «ягодки» эти выдавило к носу и повело в стороны. Левый глаз направо засматривался, а правый – налево.

Охран Охранович с трудом узнал шеф-повара, изумленно присвистнул:

– Сыто Поварёшкин? Ты? Здорово, братец. Ты чего сегодня такой... не пропечённый?

Толстые бледные губы шеф-повара кое-как разжались: словно бы сырое тесто лопнуло, испуская воздух; пузырёк слюны раздулся на губах, оторвался и полетел к потолку, переливаясь бликами.

– По какому случаю пускаем пузыри? – занервничал Охран Охранович, наблюдая за полетом сверкающего шара.

Сыто Поварёшкин был в состоянии шока. Пытаясь что-то произнести, шлепал губами, пыхтел. Кренделечки с бубликами и изображал руками, сдобно пахнущими царской кухней, пальчики оближешь.

Наблюдая за ним, Охран Охранович терялся в догадках. «Тигровый глаз» потух, обескураженный.

Ларион на выручку пришёл:

– По-моему, он говорит, что поросёнок жареный пропал.

– Да ты что?! – Охранник даже поскользнулся на паркете. – Поварешкин, правда? Быть не может!

Шеф-повар перестал трястись. Только уши на плечах подрагивали мочками. Сильная икота скребанула по горлу, когда он выдохнул:

– А вы... вык... откуда знаете про поросёнка?

Охран Охранович повеселел на мгновение. Усы погладил. Сделал равнодушное лицо – тупой гранит:

Помилуй, Поварешкин, да как же нам не знать? Скушали мы, слопали твоего толстозадого борова.

Пра... правда?

– Как на духу говорю. Что мне врать?

Шеф-повар несказанно обрадовался этому известию.

«Черносливинки» засияли, часто-часто помаргивая. Скомканной салфеткой, зажатой в кулаке, Сыто Поварешкин вытер под носом и за ушами.

Фу-у... слава Богу! – Он даже попытался поаплодировать, но салфетка, лежащая на ладонке, приглушила хлопки. – Скушали? И на здоровье. А то я уж подумал... И чего я только не подумал, грешным делом!

Скушали, ага, – подтвердил охранник.

И не подавились, – серьезно сказал молодой гренадёр.

«Тигровый глаз» охранника лучился ребячьим лукавством. Ларион стал покусывать губы, чтоб не хохотнуть... Но Поварешкин в эти минуты был слишком счастлив, чтобы заметить розыгрыш.

Вот спасибо, Охра! Успокоил! Гору с плеч свалил!

Это тебе спасибо, Сыто Поварешка.

А скажите... А перчику не многовато?

Нормально. Обжигает, но не злит.

А лаврушечки не маловато?

В самый раз. Одна только беда.

Поварское лицо, чуть было порозовевшее, снова стало краску терять.

Какая беда? – Он истошно икнул. – Неужели пересмолил? То есть я хотел сказать – пересолил.

Ты не прикидывайся, Поварешкин. Ты зачем ему копыта дёгтем вымазал? Видишь следы на полу? Твоя работа? Сознаться... Что ты снова пузыри пускаешь?.. Вымазал копыта дёгтем поросёнку и пустил гулять по царскому дворцу. А теперь стоит, пускает пузыри.

Поварешкин обомлел. Широкая спина к стене прижалась. Коленки затряслись... Он поехал спиной по стене... И вдруг замер, напоминая бабочку, иголками пришпиленную к парчовой поверхности.

Неподалеку от раскрытого окна прошагали два царских мастера, деловито беседуя о досках для гроба, предназначенного разбойнику, томящемуся в темнице, ожидающемуся палача. За окошком слышалась капель. Точно гвоздочки кто-то в гробовую крышку заколачивал...

Ресницы у повара часто-часто запорхали. В животе заурчало так сильно, будто кишка перерывалась пополам. Обескровленные губы исковеркала болезненная улыбочка. Выпрямляя коленки, повар хотел хохотнуть. Шутка, мол, понимаем; кто же будет поросёнку дёгтем мазать копыта и на прогулку отправлять по царевым палатам.

Но вместо хохотка у Сыто Поварешкина получился диковатый хрюкающий звук.

В дальнем пустом углу – эхо, не эхо ли? – звук повторился, только очень громко, внятно. Как будто настоящий поросёнок там откликнулся.

И Поварешкина опять залихорадило. Жирные уши заплясали на плечах.

Арестуйте! – попросил он, прижимая руки к сердцу. – Умоляю! Охра...

Арестуем, конечно. Поймаем и заарестуем. Ему недолго хрюкать. Я человек суровый, но справедливый. И не позволю...

– Нет, – перебил Поварешкин. – Меня арестуйте! Меня!

– Зачем? Не вижу надобности.

Повар заплакал. Черносливые глаза потонули в солёном соусе.

– Арестуйте! Посадите под замок! Мне страшно!

Охран Охранович по-отечески обнял его.

Ну что ты, как ребенок, ей-богу. У страха глаза веники, а ты прижмурь один глазок, прижмурь, и страх поубавится наполовину. Ступай на кухню. Скоро завтрак подавать.

Не пойду! – Сыто Поварешкин зарыдал. – Боюсь. Чертовщина какая-то во дворце завелась.

Успокойся, подотри под носом и скажи, где может быть сейчас Бедняжка Доедала?

Всю ночь на кухне был.

Что делал?

Доедал... А что же ему делать?

Ты видел? Он все время был на глазах?

Все время... Хотя постоите-ка! Он доедал из огромных котлов. Разулся, ноги вымыл и полез в котел – подчищать остатки пригорелой каши. Мы хотели её отнести на псарню, но Бедняжка Доедала разулся, ноги вымыл, залез в котел...

Дальше! – сердито перебил Охран Охранович.

Не знаю. Там этих котлов – семнадцать штук. Я помню, заглянул в один, в другой – не видно Бедняжки Доедалы.

Во-о-т! А говоришь, он всю ночь был на кухне. Котлы открываются снизу?

Самый крайний котел открывается. Он самый большой. С него Бедняжка Доедала и начал свою работу.

Понятно. Пошли на кухню. Да не трясись ты!

Боюсь, не пойду! Посадите меня под замок, арестуйте!

– Вот заладил... Ну, пошли в темницу, посидишь маленько, успокоишься. А поймает поросёнка – выпустим.

Не надо выпускать его! Ты что?!

Чудак. Тебя из-под замка освободим, когда его поймает.

3

Зябко, сумрачно, сыро. Запах ржавого железа, запах плесени. Смоляные факелы, воткнутые в железные факельницы, потрескивают в тишине, роняют синеватые капли, со свистом прожигающие воздух: как будто чирикает птица, чудом оказавшаяся в темном каземате.

Ступени ведут в глубину. Становится душно.

Ключи зазвенели. Открылась железная дверь. Поварешкин посмотрел на свой «новый дом» и попросился поскорей на волю. Охран Охранович посмеивался, наблюдая, с какой невероятной быстротой скачет по ступеням тучный повар, убегающий от добровольного заключения.

Охран Охранович пошёл сюда не столько из-за повара, сколько из-за того, что хотел проверить – на месте ли злосчастный разбойник; а то палач приедет из-за моря, казнить будет некого.

Разбойник сидел в самой дальней темнице. Сюда придти непросто и выйти нелегко. Повороты. Лабиринты Ловушки-тупики.

За последним поворотом Охран Охранович наткнулся на двух солдат. С палашами, с факелами. Стоят навтыжку (никогда их раньше не было тут).

Дальше нельзя, – виновато сказал один из них, палашом преграждая дорогу.

Разуй глаза! Не узнаешь? – нахмурился начальник.

Узнаю. Только там государь... Никому не велено подходить.

Государь? В темнице? Ночью?.. – Охран Охранович рассвирепел. – Ты сколько выпил, каналья чёртова?!

Не пью, ваше бродие. В рот не беру поганого.

А ну, с дороги!

Ваше бродие, поймите...

Старый вояка двумя руками сграбастал двух молодцов. Аркебузы, палаши полетели на камни. Зашипели факелы, откатываясь, дымя и угасая... Охран Охранович поднял ближайший факел. Свободной ладонью поправил усы, помятые в короткой схватке.

Повернулся, пошёл.

Железные двери темницы были открыты. Охран Охранович ускорил шаг... И вдруг остановился. Понял, что солдаты сказали правду. Понял, но отказывался верить.

Приблизился на цыпочках. Дыханье затаил. Воровато заглянул в темницу – и ошалело отпрянул. К стене прижался, больно стукнувшись затылком. «Что это? – изумился. – Видение? Надо ещё разочек посмотреть».

Посредине каземата царь стоял на коленях. Перед ним корыто с тёплой водой – парок струится. Грязный заросший разбойник сидел на камне, который служил и столом и стулом. Слышно было, как ворковала, плескалась вода в корыте. Царь ноги разбойнику мыл...

Глава восьмая. Будет мир, будет свет

1

И снова над горами, над Хрусталь-рекой солнце топорщит свой петушиный малиновый гребень. И снова на старинной башне царские часы колотят молотками и молоточками – перезвоны летят по горам и долинам, выстраиваясь в чудную мелодию; и всякий раз, когда её услышишь, сердце веселеет, душа светлеет. Ай, молодцы мастера! Хорошо посадили Царь-Город на эти холмы! Любо-дорого отсюда и посмотреть, и позвенеть на весь мир!

Заскрипела деревянная лестница. Шаги по ступеням.

– Будимир, Будисвет, за работу пора, – слышится ласковый голос.

Утренняя Башня оборудована специальной площадкой для петуха. Будимир, Будисвет – так его прозвали мудрецы. Будет мир на земле, значит, будет и свет.

Здесьний петух – птица важная, крупная. Имеет луженое горло, богатые шпоры на лакированных лапах. Гребень красного бархата с боку на бок валится; Будимир башкою вертит, стоя на площадке, внимательно слушая перезвоны часов. Поднимает когтистую лапу, красную бороду чешет.

Горделиво, ревниво он глядит на петушиный гребешок восхода. Кажется, где-то в горах за туманами ходит-бродит кочет, белые перья отрясает на реки, на долины.

Будимиру давно охота с тем петухом потягаться, голосами помериться. Кто кого перепойт? Кто царь-петух?

– Кто, кто? – ворчит он. – Кто?

Звездочёт глядит на петуха и понимающе улыбается.

Да кто же, как не ты? Конечно, ты наш царь-петух.

Петух доволен, но ворчит ещё для порядку:

То-то... то-то!

Солнечный блик попадает на золотую колокольню с крестом – самую высокую в городе. Это знак. Пора, иначе прозеваешь.

Расправляя цветистые крылья, петух взлетает на площадку, ждёт последнего звона часов. Глаза начинают калиться огнём вдохновенья. Перья поднимаются «ёжиком» на шее. Он хватается побольше воздуха, шея гнётся белым коромыслом, гнётся под ведёрком буйной головы – дерзко и отчаянно плещется петушиная побудка, озорными радужными брызгами рассыпается по земле, по небесам Святогрустного Царства.

2

Звездочёт Звездомирович Соколинский.

Будем знакомы.

Пращур Соколинского заработал фамилию эту за своё пристрастие ко всевозможным соколам и соколикам. Чеглоки, сапсаны, балабаны, кречеты побывали в руках у него, пожили в клетках. Дурная молва утверждала, будто пращур у самых крупных соколов – у кречетов, стало быть, – живые глаза выколупывал, приготавливая из них что-то наподобие глазуньи, посыпанной колдовским порошком. Правда это, нет ли, только зрение у Соколинских в роду всегда отличалось потрясающей дальностью.

Вот какие фокусы, к примеру, вытворял прапрадед Соколинского.

... Человек на коне поскакал по дороге – отмахал вёрсты четыре, если не пять. Остановился. Берёт колоду карт, перетасовывает. И – наугад показывает Соколинскому, стоящему на крыше или на береговой скале.

Простому человеку эту карту вообще не видно с такого расстояния, а Соколинский улыбается и говорит товарищам:

Прошу записывать.

Готовы, – отвечают. – Какая карта первая?

Туз бубновый.

Хорошо. Отметили. Вторая?

Король крестовый.

Третья? Что? В чем дело? Соколинский посмеивается.

А третью карту он перевернул. Рубашку мне показывает, хочет обмануть. Но я и сквозь рубашку вижу!

Так? Ну и что это?

Дама... Я, господа, простите за фриivolность, любую даму сквозь рубашку вижу.

Вы зубы-то не заговаривайте. Какая третья карта? Пропорили? Так и скажите.

Третья карта – пиковая дама.

Отлично. Проверим сейчас.

«Секунданты» необычного такого «поединка» через несколько минут собирались за столом и передавали свои записи – один другому.

И никогда ошибки не случалось.

По этой причине с Соколинским никто не решался играть. Да он и сам за карты не садился.

– Во-первых, – говорил он, – это будет нечестно с моей стороны. А во-вторых – неинтересно, господа. Видно всю колоду, как сквозь воду.

Такой был пращур.

Звездочёту Соколинскому передалось по наследству не только острое зрение, ничуть не притупившееся на восьмом десятке. Передалось не только содержание, но и форма зрачков.

В нормальных человеческих глазах у Звездочёта Звездомировича – соколиные зрачки. Маленькие, да удаленькие. Даже в самое жаркое солнцестояние Соколинский наблюдает за жизнью созвездий, а при необходимости может на солнце смотреть, сколько хочет. Но – не смотрит, побаивается. У него на этот счет свое мнение:

– Древние сказали неспроста: «Смотреть в глаза солнцу и смерти – нельзя!» К чему судьбу испытывать?

3

Петух протрубил – на хозяина глазом косит, когтями искру выдирает из камня, розоватого кварцита.

Искра отлетает под ноги Звездочёта Звездомировича.

Он выходит из мечтательного оцепенения. Берет искру, подносит к губам и при помощи легкого дуновения отправляет в небеса. Искра превращается в золотистый огонёк-мотылек, долго мотыляющийся в воздухе.

– Будимирушка, ты молодчина! – Звездочёт Звездомирович поглаживает красный бархат петушиной бороды. – Бриться пора. Вон какую бородину отпустил. Шучу, шучу... Спел ты нынче на славу. Царь-петух, спору нет.

Похвала течет по сердцу медом. Глаза у петуха замаслились (точнее, замедовились), белой плёнкой подергиваются. Будимир понимает слово человечесь – выгибает горделивую грудь, как будто подставляет под медаль.

– Заслужил, заслужил! – Соколинский обнимет петуха, посмеивается. – Надо будет замолвить словечко царю. Без тебя, соколик, мы бы тут пропали.

– Ко-ко... – с важностью отвечает петух. – Ко-конечно.

Гляди, что ты наделал! А-а... Забегали, черти! Засуетилась, нечистая силушка! Так вам и надо! Нечего здесь делать!

4

После третьей звонкоголосой побудки вся тёмная жизнь – со скрипом, с писком, с визгом – нехотя, но неумолимо отрывается от великой святогрустной земли... Тёмная жизнь отступает в норы, в горы, под кусты, под мосты...

Гляди, гляди и радуйся, милый святогрустный человек.

Чёрный цветок на перевале посветлел, как будто молоком облили. Чёрная росинка в сердцевине цветка обернулась крупной скатною жемчужиной – скатилась на траву, зазвонисто ударилась о прибрежный камень, булькнула в ручей и оказалась в розоватых ладонях раскрытой раковины: то-то будет счастье жемчуголовцу, бродящему по рекам в поисках подобного добра! Тёмная жизнь уходит... Удивительное дело! Антрацитовая жила перебелилась вдруг – превратилась в мраморную залежь на крутояре, отвесно отколотом в ревущую реку. Нынче утром придут сюда люди, будут белый камень добывать для своих колоколен.

Тёмная вода светлеет в глубоких угрюмых уловах, улавливающих мусор, ветки, бревна, остатки разбитых плотов и лодок.

Вот нырковая утка синьга – самец её раскрашен страшнее самой страшной черной ноченьки. И что же теперь? Нырнул под берегом проворный «чертяка», а на середине Светлотайного Озера... самец выныривает вдруг, переодетый в белое перо, излучающее сиянье. Плывёт – луна как будто в воде отражается. Послышалось недоуменное кряканье. Самец не может узнать себя. Воду крыльями стал кипятить, забушевал, забегал... А потом, довольный, успокоился. Важностью налился, белым лебедем себя вообразил, то и дело поглядывая в озёрное зеркало.

А вот ещё одно чудесное преобразование.

Крутая горная дорога. Тёмная скала – Чёрный камень на вершине. Камень похож на рогатую чертячью голову. Дождевые потоки подмыли эту голову, заставили «закручиниться» – камень наклонился над крутизной, над кручиной. Теперь только чуть-чуть подтолкни его – может свалиться... А внизу – дорога, между прочим.

5

В памяти у наших старожиллов сохранилась вот такая история, связанная с нашим легендарным Будимиром, с чёрным камнем на краю скалы и с одним юродивым странником – Оглашенным Устей.

У нас тут спиртоносы ходят по горам, таскают спирт в глухие деревеньки, на золотые прииски. Устя Оглашенный – юродивый старик – с недавних пор стал главной помехой на пути спиртоносов. Стал молитвы людям разносить – «от пристрастия к вину молитва свяennomученику Вонифатию Милостивому». Стал разыскивать в горах какой-то «камень трезвости» (аметист).

В общем, спиртоносы порешили грохнуть этого придурка. И выбрали ту самую скалу, где чёрный камень, похожий на рогатую чертячью голову. Точнее говоря, не сами выбрали.

Устя Оглашенный сам себя «приговорил» под той скалой... Переночевать улегся на мягкой травке...

Спиртоносы рано утром поглядели сверху – лучше не придумаешь.

– Давай, – зашептались, – раскачивай «рогатую голову»!

– Хорошая получится надгробная плита!

– Не говори. И сам бы под такой лежал.

– Цельный памятник, а не плита!

– Тихо, просыпается!

Сверху посыпалась гранитная крошка... Щелкнула по уху Оглашенному... Он спросонья подскочил – будто оглашенный. Подумал, зверь когтистой лапой царапнул.

Посидел на траве. Огляделся. Блаженно зевнул.

Спиртоносы вверху поднатужились. Три-четыре секундочки оставалось до смертоубийства.

И вдруг петух запел в далёком Царь-Городе.

Рогатый чёрный камень полетел с вершины, только и самое последнее мгновение что-то с ним приключилось. Он стал очень быстро белеть; чернокаменное сердце у него сделалось мягким, податливым.

Падая на голову Усти Оглашенного, камень рассыпался прохладным снежным серебром.

– О! Привет, архангелы! Вы что там? Очумели? – юродивый тихонько засмеялся, поднимая голову, пальцем пригрозил наверх. – Лето на дворе. Откуда снег у вас?

Выгребая из-за пазухи щекочущее серебрецо, Оглашенный поднялся и дальше потопал своею дорогой, не осознавая, что заново родился на белый свет благодаря петушину крику, почти не долетевшему до уха, засыпанного снежным порошком.

Вот такая история, связанная с нашим Будимиром, после криков которого всё кругом светлеет и веселеет.

6

Светает жизнь! Светает с каждым мигом! Сердца людей светлеют, помыслы, мечты! Каждый раз, когда третий петуший крик добивает потёмки на святогрустной земле, Звездочёт Звездомирович, как ребенок, стоит, охваченный трепетом. Стоит – сомневается. Получится сегодня чудо или нет?

Соколиные зрачки слезой заволокло от напряжения. Протер глаза, под башню глянул: – Ох ты, мать честная! Что творится! Каменная чёрная фигура полужверя-получеловека стояла в царском саду. Дурохамцы подарили это чудище или заморыши. Не важно. Главное, что после третьей петушиной побудки чудище зашевелилось, позванивая бронзовыми мускулами, сделало шаг, раскалывая землю, и, тяжело грохоча, сотрясая колокол ближайшей колокольни, побежало чудище к воротам. Лапы давили траву и цветы, но вода почему-то в лужах не плескалась, а только шипела; видно, пятки сильно припекло.

Пытаясь перепрыгнуть через ворота, страшилище ударилось о белозубую стену Кремля... Рассыпалось прахом и дымом развеялось...

А на другом конце Кремля – другой «подарочек» стал оживать. Захребетники – люди, живущие за горными соседними хребтами, – привезли вчерашним вечером Царю в подарок молоденькую овечку, нахваливая серый каракуль – ширази; можно будет, мол, с неё отличную каракульку содрать.

Смиренная эта овечка оказалась рогатым витязем в железных латах на вороном коне с копьем наперевес. Петуший крик заставил вороного замереть. Конь упал на землю, опрокинул дьяволорогого своего наездника – оба закружились чёрным облаком и развеялись на ветру.

И справа, и слева творилось нечто подобное.

– Э-э! Забегали, черти! Засуетились! – Соколинский перекрестил себя, землю свято-грустную перекрестил, небеса. – Сколько вас тут за ночь накопилось, напозло! И зачем вы только лезете к Святогрустному Царству? Своей, что ли, мало земли? Дурохамское Дуролевство вон какое большое!

7

Расправляя крылья, петух слетел с высокого насеста на Утренней Башне. Прозрачная пушинка-петушинка закружилась в воздухе – опустилась на брусчатку, влажновато мерцающую у подножья кремлёвской стены.

Глаза петуха полыхали сознанием исполненного долга.

Луженая глотка потихоньку позванивала – отголосок песни клокотал в душе. Малиновые перья на груди воинственно топорщились, излучая сказочное сияние.

Соколинский похваливал:

– Всех разбудил! Даже самый последний лентяй с печки на пол свалился! – Он хотел погладить петуха, но отдернул руку, усмехаясь: – Горячо! Накавился, парень, вдохновенным сердцем... Как бы деревянные хоромы в царевом городище не запылились.

Петух чего-то ждал – заметно было по выражению его серьезных глаз, обращенных на Соколинского.

Остывая от песни, огнекрылый Будимир прогулялся по площадке, горделиво пританцовывая и мелодично позвякивая шпорами. Приблизился к хозяину. Теплым клювом за рукав подергал.

Тот спохватился – в карман полез.

– Извини, соколик. Совсем забыл... Сейчас.

Щёлкнули замочки на дорогой шкатулке. Петух покосился, как бы оценивая. Живо склонил с ладошки крупное жемчужное зерно. Клевочек был сильный – из пробитой кожи выкатился крохотный рубин. И снова петух покосился, подумав, что это настоящий драгоценный камень и награда за сегодняшнее пение.

– Осторожней, соколик. Жиганул, как стрелой! – Звездочёт Звездомирович достал платок, промокнул рубиновую каплю. Петух виновато моргнул. Потрясая красным букетом бороды и наклоняя голову, зарокотал луженым горлом:

– Из-виз-низ!

Нахмуривая брови, Соколинский улыбнулся, прикидываясь непонимающим:

Кто? Я извинись? Ну, ты нахал, соколик. Наглечанин ты после этого.

Из-виз-ни! – поправился петух и добавил шепотом: – Ко-ко-шо?

– Хорошо, хорошо. Иди к невестам. Ждут. Спасибо за работу.

Костяными ножницами клюва зажимая крупное жемчужное зерно, петух пошёл, позванивая шпорами, самодовольно потрясая гребнем: опять нацелился подарок сделать своей любимой дворцовой курочке; у него их штук пятнадцать и все любимые; у каждой на лапке сверкает изумительный перстень, а то и не один; на шеях – на сытых зобах – перекатываются ожерелья жемчуга, алмазные кулоны, амулеты, загадочный «куриный Бог» и таинственные талисманы, хранящие от того, чтоб не попасть под топор и не сделаться вкусной похлебкой... Никогда с пустым клювом не возвращался петух в свой гарем. Дамские штучки постоянно дарил своим ненаглядным подругам. Вот почему они ждали его с нетерпением.

И – не дождались однажды...

Глава девятая. Секреты и сказки великого странника

1

Ребятишки страсть как полюбили Устю Оглашенного. С ним было интересно, увлекательно. Про всякую травиночку, про каждую пылиночку он тебе расскажет, словно песню пропёт, про любую козявку-малышку. И откуда он только берет все эти побаски?.. Любили Оглашенного. Ждали.

Ещё, бывало, только-только пыль по-над дорогой закудрявится, а кто-то самый глазастый, сидящий на самом высоком дереве, уже свистит, сигналы подаёт своей конопатой чумазой братве. Ребятишки бегут за деревню, встречают и гостинцы принимают.

– Ну, как вы тут без меня жили-поживали?

– Мы скучали! – чуть ли не хором говорят ребятишки.

А что от скуки делали? Не бедокурили? Выполняли главную царскую заповедь? Что царь Грустный Первый говорил нам? Кто подскажет?

Ребятишки начинали вспоминать – наперебой:

– Когда тебе не хочется делать что-то хорошее, доброе людям – подумай о том, что Христос не гнушался даже ноги мыть своим ученикам...

– Молодцы, сорванцы. Хорошо запомнили царёво слово.

Взрослые тоже любили юродивого, хотя и не так горячо и открыто, как дети. Дети – сердцем любили, а взрослые – умом. Устя Оглашенный ходил куда-то за живой водой, а потом раздавал её – монастырям, церквям и всем, кто хотел «оживиться».

Где ты берёшь её, такую чудную? – допытывался кое-кто из дурохамцев, прикидываясь милым святогрустным человеком.

В горах, – простодушно отвечал Устин.

Горы большие. Где именно?

А там, где зарождается Хрусталь-река.

Бывал я там, да что-то не нашёл живую воду.

Плохо смотрел, комар тебя забодай.

– А ты бы взял меня с собою – посмотреть, – приставал дурохамец.

Не велено.

Это кто же тебе не велел?

Устя пальцем показал на небо. Дурохамец проследил за корявым перстом юродивого:

– Бог, что ли? Да иди ты... Бреешь!

Устя отвернулся и пошёл, мелькая босыми пятками.

Волшебные птицедевы – сказочные Сирины и Алконосты с лицами прекрасных девушек – полетели следом за юродивым, человеческими голосами напевая тихие молитвы. Когда-то птицедевы эти были деревянными, были хрустальными – юродивый сам делал их. А живыми они становились после живой святой водицы. Так говорили в народе. И неспроста говорили. Были когда-то на этой земле мастера-кудесники; какие только штуки не выделявали из холодного хрусталя, добытого зимою на Хрусталь-реке; слово заветное знали те мастера, знали порошки и прочие премудрости, чтобы хрустальные поделки не таяли под солнцем или когда поставишь их поближе к открытому огню... Много чего знали святогрустные мастера, только одного секрета не могли добыть: какая такая живая вода оживляла Сиринов и Алконостов, сделанных руками юродивого?

Скажи, – просили мастера, – ведь помрёшь, не дай Бог, в могилу секрет унесешь.

Скажу, – обещал он. – В аккурат перед смертью.

Ну, хорошо, не говори как можно дольше. Живи себе. Сами узнаем.

Среди мастеров затесался один дуροхамец, послушал такой разговор и смекнул: «Перед смертью откроет секрет? Эге! Это мы живо устроим!»

Дурохамец пошёл по пятам, выслеживая, когда и где юродивый берёт живую воду, какое дерево рубит, какие хрусталинки добывает в реке для своих преподобных Сиринов и Алконостов.

Целый год ходил за ним – ничего не выходил.

«Пора его кончать! – решил. – Перед смертью скажет!»

2

Сегодня – после очередной грозы – юродивый снова отправился за живой водой. В горах камнепады гремели – сорвало дождевыми потоками. Угрюмый гул гулял в ущельях. Промокшие испуганные птицы перелетали с дерева на дерево. Камни там и тут перебегали дорогу Устину Оглашенному – перебегали очень близко, ударяясь друг о дружку, высекая искры. А иногда каменюка пролетал над головою, «причесать» норовил.

– Ишь ты, забодай тебя комар, – шептал юродивый. – Распрыгались тутока, что тебе лягушки на болоте. Устя ходит под Богом, так што неча тут прыгать. За спиной раздался крик...

Он повернулся и увидел дуροхамца. В кровь разбитый, бледный – лежит под скалою. Какой-то шальной каменюка ударил его – сознание вышиб на время. И хорошо, что под рукою Оглашенного оказалась живая вода; он уже сходил за нею, возвращался. Без этой «живинки» дуροхамец умер бы на месте. Наклоняясь над ним, юродивый покапал, покропил дымящуюся рану. И она зарубцевалась почти мигом. Дурохамец поднялся.

– Вот спасибо старик!

– Да об чём разговор?

А что после было – юродивый не помнит. Очнулся Устя Оглашенный на дне промозглой пропасти, похожей на огромную могилу. Посмотрел по сторонам – и глазам не верит.

Гром Громолвович? Ты?

Я! – грохнул грозный бас.

А ты чего здесь?

Я здесь живу!

А я што делаю?

А ты помираешь, старик. Тебя дуροхамец с горы толкнул.

Не-е, – улыбнулся юродивый. – Устя ходит под Богом. Устя век не помрет.

И правда не помер. Волшебные Сирины и Алконосты прилетели к нему, живой водицы в клювах принесли – ожил юродивый.

– Вот хорошо, – обрадовался он, – спасибо дуροхамцу, а то бы никогда не побывал в гостях у Грома Громолвовича. Я думал, у тебя хоромы царские, а тут, смотрю, какая-то берлога.

– Мои хоромы далеко, – загрохотал незримый Гром Громолвович. – А здесь-то я на время приютился.

3

Весенний Гром Громолвович нашёл себе тёмную глубокую берлогу на дне туманной пропасти, где валуны заволосатели сырой зелёной мшиной, где пахнет сладковатым и густым настоем зелени, воды, камней и различных корней.

Растревоженный петушиными криками, он заворочался в берлоге, что-то прогроломвил недовольным басом – эхо закачало кедры, стоящие на закрайках пропасти.

Приподнимаясь, Гром Громолвович потряс косматой тучей, растущей на загривке. Грязные когти, похожие на обломки источенных молний, заскребли по валунам, сдирая мох. Камни покатались под речной уклон – засверкала расцарапанная золотая россыпь, жарким угольём слепящая глаза. Лохматой лапой кверху кинув эти «уголья», Гром Громолвович сердито засопел...

По траве, по лужам, по деревьям Царь-Города пробежала сильная рябь. Нечастые, но крупные капли – величиной с орешину! – забарабанили по стенам, башням и церковным куполам. А потом золотая шрапнель вдруг ударила... Золотины покатались по брусчатке, забулькали в лужах, в канавы упали.

Голубовато-желтая молния когтями зацепила горизонт, распорола по краю – дождь ливал с той стороны.

Соколинский видел крыши, озарённые всполохом на горизонте. Дорога в полях. На дороге – тележный след, напившийся дождя и пьяно сползающий с косогора. Цветок, зарезанный тележным обручем, лежал в грязи, глядел на небеса голубоватым немигающим оком, в котором дрожала слезинка-дождинка.

Звездочёт Звездомирович умел повелевать стихиями.

Развел руками, сделал несколько странных движений.

Соколик, ну хватит. Погремел, погромолвил и отдыхай. Ветер! И тебя это касается!

Знаю. – Ветер в тучах вздохнул, затихая. – Боишься, как бы шторма не было?

Царь Государьевич опять какого-то заморыша в гости поджидает.

– Да ладно был бы человек хороший, а то, говорят, настоящий палач приплывает.

– Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы.

– В том-то и дело! А может, мы его того... ибн об углы? Гром Громолвович ударит колоушкой и спрячет концы в воду.

– Нельзя. Царское слово – закон. Так что вы не хулиганьте, а то поссоримся.

Длинноногий Дождь остановился и показал человеку ослепительную улыбку – солнце в тучах блеснуло. Высокое белое облако над головою Дождя стало приподниматься как шляпа. Он поклонился повелителю стихии, подмигнул далеким всполохом, сунул руки в брюки и пошёл, беспечно посвистывая, перешагивая через деревья, через деревни, через города и горы, через границы.

Ветер потеплевший, подобревший – медленно вставал из дальних сумрачных оврагов, мерцающих рубинами чертополоха, изумрудной свежестью молодой крапивы. Ветер пошёл из промокшей далёкой дубравы, одурело пахнувшей прелым листварём.

Подсыхающая первая пылинка поднялась на крыло – полетела с каменистой кручи.

Соколинский видел крылышки порхающей пылинки серые с белым подбоем. Видел ее серенькие глазки, растерянно смотревшие на мир, где так легко погрязнуть после дождя – великого потопа. Трава на пригорках трясла и покачивала хмельной головой со спутанными волосами Лопухи, тысячелистник, хвощ полевой, лебеда – вставали, кряхтя и поскрипывая зелеными сапожками, утопающими в грязи.

4

Ребятишки на пригорке окружили Устю Оглашенного. Сидели на подсыхающих бревнах. Слушали – муха могла залететь в распахнутый ротик.

Оглашенный рассказывал очередную историю. Сегодня о том, как посчастливилось ему побывать в гостях у Грома Громолвовича.

Вот, пожалуйста, он просил передать вам игрушки.

Ух ты!

А что это?

Погремушки-громовушки называются. Только вы, пострелята, пока не гремите. Я гармошку спою, мы возьмем... Тьфу! Совсем, старый хрыч, заболтался. Я гармошку возьму, мы споем.

Ребятня засмеялась, помогая Усте Оглашенному ремешки на плечах закрепить. Стали песню разучивать:

Ходит, ходит по земле
Гром, Гром!
Ищет, ищет он себе
Дом, дом...

– А почему у него дома нет?

Юродивый задумался. Поглядел на свой дырявый локоть.

Почему, говоришь? Папку с мамкой не слушал. Расшалился как-то весной, загремел, как черт в порожней ступе. Ну и развалил свой дом... Раскатал по бревнышку. Забодай комар его!

А папка с мамкой выгнали его?

Откуда выгонять-то? Дом развалился.

А как дальше было?

Гром Громолвович в тайгу пошёл. Молния рубила там деревья – помогала ему бревна готовить для нового лома. А тут спиртоносы проходят тайгой. Гром возьми да и выпей спиртяги. Ну а пьяный – известное дело – дурак. Наломал он дров тогда в тайге, ох наломал... Так что вы, ребятки, вина не пейте, а то будете без дома не хуже Грома. Ну, давайте дальше песенку разучивать... А если нет, могу вам показать пылинку...

То ли мы не видели её?

Кто видел?

Все видели!

Ты за всех не отвечай. Ты видел? Ну, скажи, сколько лапок у нее? Сколько крылышек?

Ничего там нету-ка.

Посмотрим. – Устя Оглашенный гармонику поставил на пенёк. Наклонился и поймал пылинку, поднявшуюся на крыло. Стеклышко пузатое какое-то из кармана достал. Ребятишки поглядели – ахнули.

Глазёнки видно! Братцы! Глазёнки у нее!

Крылышки! Во, ё-моё!

А я что говорил? Ну, хватит ее мучить, пускай она летит своей дорогой. А вы запомните, мои хорошие: любите свою землю, берегите каждую пылинку, каждую росинку – у них у всех душа, не обижайте!

Оглашенный говорил и говорил – не переслушаешь. Целыми днями, целыми неделями Устя бродит по горам и долам. Намолчится в одиночестве, соскучится по людям – особенно по ребятишкам – и тогда его не остановишь. Краснобаем становится – диву даешься.

5

Горячим дыханием ветра осушило проселки, тесовые крыши соседних селений. Солома тихонько запела на крышах, причесалась, привела себя в порядок. Деревья на околице поправили юбки, переворошенные грозой. Пастуший костерок в лугах – промокший до смертушки, чахоточно чадающий из последних сил – заискрился вдруг, запламенел, вырастая с каждой минутой. Бурая глина закурилась на береговых обрывах, наискосок распиленных дождевыми потоками. В глубине – под корягами – сазаны повеселели, вороша, как вёслами, тяжёлое

течение Хрусталь-реки. Золотыми слитками, красноглиняными комками сазаны вспухали на поверхности, бурлили воду, светлую верёвочкой закручивали воздух и утягивали на дно – пузырьки выскакивали, с тихим звоном лопались.

Солнце припекало, протыкая воду, землю... И скоро земля задышала, как брага, с которой сняли тугую крышку... Пир на весь мир начинался на землях Святогрустного Царства – ещё один весенний добрый день, подаренный Господом Богом.

Эх, побольше бы, ребята, нам таких деньков!

Однако не печалься о том, чего нету – лучше радуйся тому, что есть.

Глава десятая. Кучерявая лысина

1

Царский кучер сунул руку в карман, пригоршню отборного овса отправил в рот – и чуть не подавился, поворачиваясь: из-за угла показалась телега с лошастью, запряженной задом наперед. В телеге сидел Страшутка, ладонь с кусочком сахара держал перед лошадиной мордой (ладонь была смазана волчьим жиром). Лошадь пугливо пятилась – задним ходом тащила телегу. Мужики за углом похохатывали.

Тр-р, стоять, приехали! – воскликнул Старый Шут, отнимая ладошку от лошадиного храпа. – Здорово, Кучерявый. Мы тебя обыскались.

Кто тебе лошадь так запряг, Страшутка?

Сама запряглась... А не веришь, дак спросил бы у неё.

За углом опять захохотали. Крепкими зубами дробя овёс, Фалалей подошёл, скинул хомут, натянутый на лошадиный зад.

Я с тобою разберусь когда-нибудь! – пригрозил.

Когда-нибудь – это ладно. А с тобою сейчас разобраться хотят, – ехидно заметил Страшутка и, помолчав, добавил: – Одноглазый тебя ищет.

Какой «одноглазый»?

Охраныч... А какой же ещё? – Страшутка подкинул кусочек сахара и ловко поймал разинутым ртом.

А чего ему? Одноглазому.

– Не знаю. Иди, да сам спроси.

Фалалей подумал, глядя в землю.

– Разбежался, ага. Больно мне нужно. Я царский тарантас готовлю к путешествию, некогда мне бегать за Одноглазыми.

– Ну, как хочешь. Моё дело – передать приказ.

Фалалей поперхнулся от возмущения.

– Ох, ты, колесо моё квадратное! – он проглотил разжёванный овёс. – Царь для меня приказ. Только царь. И точно. Иди отсюда, не воняй! Всех лошадей перепугаешь волчьим жиром. Знаю я твои фокусы. Возьму вон оглоблю, пошутить тогда.

Страшутка взял лежащее неподалеку тележное колесо и покатил его перед собою, оглядываясь и дурашливо прикрикивая:

– Ой, как страшно! Мы поехали, поехали!

2

Царского кучера звать Фалалеем, но чаще обзывают Кучерявым Кучером и даже костяными гребешками одаривают иногда, хотя он лысый – днем с огнём не сыщешь волосинки на голове. В детстве, правда, был кучерявый, да такой кучерявый – одно загляденье. Смолистые плотные волосы напоминали чёрный каракуль – араби, – из далёкой страны Холхиды привозимый в подарок царю.

И дед, и отец Фалалея кучеровали на этой конюшне. Подросток Фалька лошадей любил самозабвенно; всегда карманы полные сахаром, овсом да сухарями. И лошади – они ведь как большие дети – сразу поняли душу его. Лошади всегда к нему с улыбкой на губах, с весёлым ржанием...

И только однажды Черт попутал отрока. Чертом звали жеребца-тяжеловеса, звероватого, косматого, не нюхавшего узды, не знающего седла. Фалька взялся укрощать зверюгу. Так получилось, девка рядом оказалась, героем перед нею захотелось выглядеть. Однако Чёрт не понял его благих намерений: заплясал под ним, раздухарился, опрокинул наземь – чуть не убил копытищем. Лягнул – достал по кумполу. А подкова у Чёрта была – серебра с полпудика приколотили на царской кузнице. Хорошо, что скользом прилетело по башке, а то бы хана Фалалею.

Отлежался он. Повязку сняли. И вот здесь-то началось такое диво – не всякий поверит. Однажды в полночь мать просыпается:

– Фалька! Ты, что ли, свечку палишь под одеялом?

А парень спит, похрапывает.

– Отец! – переполошилась мать. – Проснись!

– Кого тебе?

Горим!

О Господи... Дак чо же ты лежишь?

Тихо, не кричи, разбудишь Фальку.

Поднялись. Подошли на цыпочках.

Прям чудеса в решете! – отец глаза тарашил. – Святой он, что ли, стал? Сияет, блях-муха, как ангелочек!

Может, и святой. Не лайся.

Дура ты старая! – отец отмахнулся, отходя от кровати сына. – Это ему подковина в башку влетела. Серебряный след пропечатался.

Да ну? А разве так бывает?

Как видишь, Марфа.

Вижу. Полумесяцем горит. Красиво.

– И ты иди, подставь башку, пушай лягнёт. Тоже красиво будет. Только смотри – прибьет Чертыка! – Отец хохотнул. – Разбудила из-за ерунды, теперь до утра куковать.

С полгода, если не больше, болела рана – огнём горела. Чёрный «каракуль» сопрел и помаленьку высыпался под гребешком, под ветром.

И расплылась на голове лысина – серебристым озерком. Лысина эта излучала странное сияние. Страшутка не преминул сочинить каламбур:

– От лысины твоей исходит лысияние! Теперь тебе не надо фонарь в дорогу брать!

Характер у Фалалея покладистый. Он усмехался в ответ. И улыбался, когда подначивали по поводу «подкованных мозгов», которые век не изнасятся. И по поводу «кучерявого кучера» не сердился, а с годами и вовсе привык – принял за настоящее имя.

3

Начальник дворцовой охраны, потрясая пиками усов, шагал на конюшенный двор.

Запахло отсыревшим сеном, упряжью и конскими яблоками; одно из них дымилось на пути – воробьи верещали, выклевывали овсяные зернышки из яблока.

Дождинка, проткнутая стеблем цветка, подрагивала с краю сеновальной крыши – упала за воротник, заставляя Охру сердито ошестинить усы. Он посмотрел наверх, осклабился. На землю посмотрел, останавливаясь.

Отчетливые оттиски подков, налитые влагой, позеленелой от раздавленных травинок. Возле кормушки – оранжевая россыпь отборного овса, разбухшего, расколовшегося посередине, готового корешки под землю запустить; воробьи почему-то не видели этот овёс. В переполненной бадье синеет опрокинутое небо с белесоватым огарком месяца, похожего на тележный обруч, который кузнецы отковали – сунули в воду закаливать.

За углом – перестук молотков. Будто кто-то пляшет в железных башмаках.
Удары смолкли. Голоса слышались.

Готово. Проверь, как оно побежит? Прямо, нет?

А чего ему криво бежать? Не с похмелья.

Выходя из-за угла, Охран Охранович отпрянул – колесо по двору побежало вприпрыжку. Новенький обруч сверкал синеватою лентой – наворачивал травинки на себя, мокрый пух.

Под навесом темнел тарантас – раскорячил новые светлые оглобли. Колесо ударилось в оглоблю и подпрыгнуло, оставляя на берёзе неглубокий шрам. И вдруг попало втулкой на пустую ось, ждущую именно этой обновы.

«Ловкачи, паразиты!» – с хорошей завистью подумал Охран Охранович. Мастерские люди нравились ему – хоть кузнецы, хоть плотники, хоть кто другой, умеющий делать свое дело легко, играючи.

Он свернул на звук металла. Остановился. Два кузнеца-кудесника месили молотками железное белое тесто. Подкову стряпать готовились.

Мужики, здорово!

Здорово, коль не шутишь.

Где ваш Кудрявый?

Ась? Давай погромче...

Где Фалалей, говорю? Да подождите вы греметь! Змеи гремучие!

Кузнецы захохотали – с весёлой рабочей злинкой. Зубы крепко стиснуты. Лица горячи. Глаза блестят, лишь изредка отрываясь от раскалённой поковки.

Тот, что помоложе, выдохнул:

За конюшней гдесь-то!

Кудри чешет! – подхватил тот, что старше, мимоходом сплевывая под ноги себе и не переставая молотом выписывать серебристое полукружье – от наковальни до плеча и обратно. Искры летели овсом от подковы, шипели на сырой земле и «прорастали» кверху стебельками сизого дыма.

Шевельни копытом, Охра! – рявкнул молодой кузнец.

Я шевельну. Чего тебе?

Сапог прогорит! Посмотри! – молодой хохотнул.

Ох, так его... Тут с вами босяком заделаешься! – Охран Охранович постучал подошвой по земле. – Только вчера надел! Новьё!.. Змеи гремучие. Сказал же, подождите, так нет...

Готовая подкова полетела в кадушку. Вода забурлила ключом, пузырями пошла, синеватым дымочком подёрнулась.

Кузнецы постояли, вытирая потные загривки, похохотали, наблюдая за Охрой; сбивая искры с обуви, он гарцевал жеребцом.

«Тигровый глаз» охранника из-под брови кусанул одного и другого. Но кузнецы не обращали внимания, занятые срочной и важной работой – рысаков готовили в дорогу.

Вы у меня смотрите! Город спалите!

Новый скуём, не бойсь!

Я скую тебе, чёрт. Зубоскалишь...

Заплакал бы, да слёзонька спеклась около горна.

Беспричинная весёлость красномордых кузнецов стала раздражать его, в последнее время издерганного службой. Он хотел полаяться с ними от души, но железо разве перегавкаешь. Снова загремели, змеи гремучие. Ни минуты продыху – ни себе, ни людям.

Охра сплюнул, отворачиваясь. Поглядел на прожжённый сапог и сердито задёргал усами.

– Вот змеи! – вздохнул. – Ладно, хоть нога цела осталась. Можно было бы и косточку пробить такой раскалённой дробинкой.

4

Фалалея он искал по царскому срочному приказу. Но кузнецы ему всю голову забили звонами. Постоял среди конюшенной ограды, с удивлением подумал: «А зачем я здесь?»

Увидел ступицу, измазанную дёгтем. Присел на корточки. Принюхиваясь, шумно потянул ноздрями.

За спиною – солнце. Тень упала на ступицу.

– Охра? – раздался насмешливый голос. – Ты чего здесь вынюхиваешь?

«Тигровый глаз» прищурился, присматриваясь, – к свежему дёгтю на втулке прилип. О чём-то глубоко задумавшись, начальник охраны поднялся, поцарапал шрам на подбородке.

Здорово, Кучерявый. Тебя ищу.

А что такое?

Да так, соскучился. Тебе не говорили?

– Кто-то что-то говорил, но промолчал про то, что ты соскучился. А то бы я задрал штаны и мигом прилетел бы. Ну, здорово!

Крепкие ладони встретились в рукопожатии. Захрустели косточки. Всегда они вот так-то – силой меряются при удобном случае. Большие дядьки вроде, а со стороны посмотришь – как пацаны.

Рука у Фалалея лошадиной силы. Тёмная, растресканная работой. Между большим и указательным пальцами белеет рваная полоска – вожжиной спалило. Под крутояром кони вразнос однажды кинулись. Рукою успел ухватиться за обрывок упряжи – полвёрсты на брюхе бороздил. Спас царя от неминуемой гибели. Вошёл после этого в доверие к царю; тот полюбил отчаянного кучера; вот почему Фалалей иногда вел себя дерзко с придворными.

– Как спал да ночевал, Кудрявый?

– Хорошо, спасибочки, – Фалалей машинально сунул руку в карман, кинул щепотку овса на язык. – А ты какой-то, братец... Как не выпатый.

Оглядываясь, Охран Охранович перебил:

Где хранится дёготь?

Где положено, там и хранится, – кучер поддёрнул портки, подпоясанные подпругой. – А тебе-то что? – спросил, аппетитно хрустя сухими овсянами.

И всё-таки? – охранник надавил на басы, демонстративно поправляя пистоль.

Фалалей усмехнулся. Поцарапал шрам на руке. Неторопливо дожевал овёс и проглотил.

– Ох ты, колесо мое квадратное!.. Ну, пойдём-ка, покажу бочку с дёгтем, коль такая надобность.

Воробей слетел с дороги – помешали купаться. На жердину присел, отряхнулся, поднимая перья веером: капельки брызнули в лужу. В клювике у воробья какое-то зернышко. Проглотил и чирикнул, довольный.

Они прошли по деревянному настилу в тёмных печатях от подков. Свернули под крышу. Здесь тихо. Пахнет сухой пылью и мышами. Старые дуги виднеются, ржавые полозья. Дыры, заткнутые пучками соломенного солнца, – лучи ложатся наискосок, – пятнают пыль, разбитые колеса.

Из полумрака выплывают конские глаза. Большие, диковые. Белая звезда распластана по чёрному лбу. Конь фыркает – дыхание вкусно пахнет жёванными травами.

Осторожно, это Ретивый! – предупредил Фалалей. – Только зазеваешься, он тут как туг. Или подковой поцелует между глаз, или это... Смотри, как бы усы не отжевал.

Ты лучше о кудрях своих волнуйся. Где бочка?

Там, – Фалалей опять отправил пригоршню овса в распахнутый рот.

Где – там? Да хватит жрать! Оставь немного жеребцам! Стоят голодные, потом лягаются.

А чего ты рассердился? – Фалалей потыкал пальцем в тёмный угол. – Вот бочка. Что дальше?

«Тигровый глаз» метнулся в темноту, пошарил справа, слева. Усы тревожно вздыбились. Что-то не видать...

Смотри в оба, – съехидничал Фалалей. – Она прикрыта чёрной парусиной.

– Вот парусина твоя. А где бочка? Иди, Кудрявый, покажи. Быстрее.

– Ох ты, колесо моё квадратное! – раздался тихий изумлённый свист. Фалалей заволновался. Шрам на руке поцарапал. Выплюнул под ноги недоеденный овёс и побежал к другому тёмному углу. Зазвенел какими-то железками. Наступил на грабли – получил по лбу. Ухнул задом в пыль и ошалело замер, выпучив глаза.

Охран Охранович злорадно фыркнул, сдувая паутину с напружиненных усов. Он весь теперь был собран в тугой комок. Давно хотел «хомут надеть» на Кучерявого Кучера. Больно задаётся, лысый хрен. Ходит в любимчиках у царя и земли не чует под собой.

Ну? Где твой дёготь? Умыкнули?

На хлеб намазали! – сердито выпалил кучер, поднимаясь и отряхивая зад.

Кто? Когда намазал? Живо сознавайся.

Господь с тобою, Охра. Я сам только заметил, что бочки нету.

Значит, плохо следишь за хозяйством! – ухмыляясь, начальник охраны поправил пистоль за поясом.

Как – «плохо»? Вчера ещё бочка была. Что же мне? Спать в обнимку с нею, сторожить?

Выходит, надо было так и делать.

Ты царскую печатку вон как сторожил! И то украли!

От злости и удивления «тигровый глаз» чуть не выпрыгнул из-под брови. Лицо побледнело. Усы затряслись.

– А ты откуда знаешь?

Да про твою печать уже весь город...

Тихо, дурак! Даже царю пока что неизвестно!

Не дурачь, не дурнее тебя.

– Прости, Фалалейчик, прости, – Охран Охранович помог ему отряхнуться, поглаживая по спине и переходя на мягкий тон заискивания. – Мы найдём печатку. Обязательно. Ты не проболтайся только... Ладно? Я человек суровый, но справедливый... Я тебя Христом Богом прошу... Мы найдём!

– Дело ваше. Мне бы дёготь найти. Какая сатана его слизнула?! – Фалалей фуражку приподнял в недоумении. Лысина заполыхала странным серебристым лысиянием, точно месяц во мраке прорезался над головою кучера. Паутина сверху завиднелась кружевами. Воробьиные гнезда. Пушинка белела в запylённом паутинном кружеве.

«Тигровый глаз» прижмурился.

– Фу ты, чёрт, напугал. Я давно уж не видел твоего лысияния. – Охранник попятился, перекрестился, а потом как будто озарило этим сказочным огнём: самое главное вспомнил. – С дёгтем опосля разберемся. Царь тебя хочет с пакетом отправить. Скорее, он ждёт!

С пакетом? Куда?

Под конские уда! Не задавай дурацкие вопросы. Будет царь мне докладывать, что да куда. А сразу почему не сказал?

– Забыл. С этим чёртовым дёгтем...

Фалалей поспешно скинул грязную одежду, пропахшую человеческим и лошадиным потом. Кряхтя, залез в парчовые штаны. Лапти древесной коры поменял на башмаки из доброго турецкого сафьяна.

Розовая новая рубаха, расшитая серебрецом и золотыми нитками по вороту, по краям рукавов, преобразила кучера. Лошади смотрели и сердито фыркали, не узнавая, приносива-

ясь к «новенькому». Охран Охранович тоже как будто рассердился, покачивая головой: был приятно удивлен.

– Гренадёр! Гусар!.. Гусак!.. Ха-ха...

Пропустив мимо уха «тупую остроту», покидая конюшенный двор, Фалалей сполоснул лицо и руки в прохладной лошадиной бадье, где голубело опрокинутое небо с одиноким облачком. «Кучерявую» голову причесал по привычке. Спыхватился, плюнул:

– Паразиты! Снова гребешок подсунули в карман!

«Тигровый глаз» лучился ехиднёвским весельем.

– Твоя работа? – буркнул Фалалей.

Ага, ночь не спал, обдумывал, как тебе ловчее гребешок подсунуть.

На, заberi, тебе нужнее. Усы причёсывать.

Да мы уж как-нибудь, благодарствуем.

– Ну, как хочешь. Гривы конские буду расчёсывать.

Фалалей поправил кепку.

Вышли за ворота. Охран Охранович приотстал – на несколько секунд залюбовался Кучерявым Кучером. Глядел с нескрываемой завистью на щеголеватого беззаботного парня. (А что ему: знай себе, дёргай вожжи). Потом сказал, вздыхая и прищуривая «тигровый глаз»:

Кудрявый, тебя хоть жени!

Ну да, – задумчиво ответил Фалалей, глядя в сторону царских палат.

Хоть жени, – язвительно продолжил охранник, – вон на той кобыле!

Что ты сказал?

– Царь, говорю, дожидается. Шевелись! – Усы охранника тряслись от смеха, «тигровый глаз» купался в весёленькой слезе.

Фалалей серьёзен был. Шагая, под ноги смотрел. Турецкий сафьян, мягко и нежно обнимая ноги, скрадывал шаги на мраморных ступеньках дворца.

5

Не изменяя распорядку своего рабочего дня, царь сидел в роскошном рабочем кабинете. Бумаги подписывал. Время от времени рука его тянулась к дорогой шкатулке – малахит с травяными и листовыми разводами. Крышка открывалась. Царь вынимал печать с гербом и двуглавым орлом – осторожно припечатывал к бумаге.

Начальник дворцовой охраны первым вошёл в кабинет. Царский кучер за ним...

Постояли у порога, стараясь не дышать – не мешать государеву делу. Но когда увидели печать в руке царя... Фалалей-то ещё ничего – только плечами пожал в недоумении. А «тигровый глаз» едва не лопнул: так набычился, так увеличился.

– Печать?! На месте?! – едва не закричал Охран Охранович.

Светло-соломенные брови государя сердито сбежались над переносицей. Неохотно отрывая глаза от бумаги, он задумчиво спросил:

– А где же быть ей? Коль не на месте? – внимательные умные глаза государя вдруг наполнились лукавыми искорками, и, подражая голосу Терентия, своего слуги, он проворчал: – Работашь, работаешь не подкладая рук...

Глава одиннадцатая. Высокая работа седого звездочёта

1

Певучее сердечко петуха томилось тревожным предчувствием. Горло странно зуделось последнее время, точно топор почуяло. И ни пить, и ни есть не хотелось ему. И за подружками-несушками не хотелось бегать. И солнце на восходе – на пороге побудки – уже не радовало так, как прежде.

И оказалось – это не напрасно.

Сегодня ночью кто-то заглянул в царский курятник.

Будимир насторожился, кококнул, слетая с насеста.

– Тихо, тихо, дружок, успокойся, – промолвил чей-то голос, фальшиво-ласковый.

В темноте шуршал мешок.

Петуха накрыли. Он отчаянно сопротивлялся, когтями раздирая мешковину, царапая чьи-то вонючие лапы. Но что он мог поделать в тесноте мешка? Его сдавили – начали душить. Ещё минута, если не меньше – и всё, и хана бы ему... Но что-то помешало вертопрахам...

Бросай! Идут! – раздался шепот.

Кто? Где?

Охрана! Близко!

Подожди, сверну башку ему...

Бросай, куда не свернули нам самим!

Ночные вертопрахи бесшумно скрылись. И тут же в Курятник заглянул один из гренадёров из команды охраны.

– Да нет, – сказал он кому-то. – Тут всё тихо.

– Значит, показалось. Ну, пошли, вздремнём.

Полузадохнувшийся петух какое-то время лежал, раскинув крылья, на мраморном полу Курятника – рядом валялся брошенный скомканный мешок. Полуоткрытым глазом Будимир видел синее оконце. Понимал, что надо встать – скоро заря. Но слабость, противная дрожь одолели его.

«Опоздаю, – толкливо думал он. – Вот будет позору!»

Солнце брызнуло кровью по небу...

Будимир поднялся. Привёл себя в порядок и поспешил на работу – минута в минуту. Горло у него после ночного происшествия немного побаливало. И всё же он пропел зарю. Провел вполне достойно. Хотя, если честно сказать, пропел без того горячего азарта, каким отличался всегда. Но Звездочёт Звездомирович не заметил этого, увлечёнными своими делами. И потому петух получил в награду очередное жемчужное зёрнышко, всегда вызывавшее радость в душе. Всегда, но только не сегодня.

– Что-то случилось? – спросил Звездочёт Звездомирович, глядя в потускневшие глаза певца.

Будимир хотел рассказать Соколинскому о ночном происшествии, но не смог, не захотел; почему-то стыдно ему сделалось. Ночные страхи показались пустяковыми, точно приснились.

– Гарем большой, работы много, вот и не выспался, – сказал он, покидая Утреннюю Башню.

А Звездочёт Звездомирович продолжил свою работу. Нужно было сосчитать небесные сокровища страны Святая Грусть. Здесь не то, что каждая звезда – каждая пылинка звездная должна быть на учёте. Вот почему святогрустные вечера и святогрустные ночи так сильно вдох-

новляют поэтов, музыкантов и художников. Светло здесь, как нигде! Звездные россыпи – вот они, в целости и сохранности!

2

Основание Утренней Башни – крепкий фундамент и нижний этаж – из камня. А верхний ярус мастера слепили в виде стеклянной светелки, обладающей свойством увеличительного стекла: созвездья, кажется, плавают прямо перед глазами, светлыми щупальцами щупают ресницы – руку можно протянуть, потрогать, коль не боишься звездного ожога. Светелка впечатляет особенно безлунными ночами, когда кругом повывзвездит на сотни, сотни вёрст...

Соколинский поднялся на верхний ярус. Разулся в прихожей на коврик из голландской золочёной кожи.

Догорающий месяц на небе, увеличенный стёклами, расплескал парное молоко по полу – греет белыми струями, полощет пальцы, пятки щекочет. Приятно так, безопасно. Сидел бы и сидел, но звезды ждать не будут; никто их за тебя не сосчитает.

За горами слабая зарница трепыхнулась, приподнимая из темноты дальние кручи, поросшие лесом, покатым серебряным лоб ледника.

Соколиными зрачками впиваясь в небо, он заметил падучий огонёк у перевала – длинным завьюженным зимником выстелился в воздухе фосфорический тающий след...

Длиннополая рубаха Соколинского расшита узорами старинной звездной карты и знаками Зодиака.

Он облачился в рубище. Достал уникальные сапоги – небоступы, небоходы. Звёздная пыль переливалась на правом сапоге, после вчерашнего обхода осталась – не стряхнул, не заметил.

В углу стоит икона – старинная икона Пресвятой Богородицы «Благодатное небо».

Перед началом работы Звездочёт всегда молился, чтобы над ним Господь распахнул благодатное небо. Самозабвенно, усердно молился. Иногда перед началом молитвы небо над головою было туманным, тучевым, а под конец молитвы небо становилось благодатным. Помогает икона – священная.

Он собрался душой, приготовился телом. Перекрестился на икону, озарённую денницей – вместо свечи стояла за увеличительным стеклом светлицы.

– С Богом! Помоги и сохрани все звёзды над нашей державой!

Звездочёт давно уже освоил эту обувь – небоступы, небоходы. И все равно попадает впросяк. Первые шаги у него всегда получаются «пьяными». Только стоило ногу поднять – ох ты, матушки! – он почти поплыл по воздуху, неуклюже размахивая руками и беззвучно посмеиваясь над своей постоянной забывчивостью: поосторожнее надо ходить в небоходах. Однажды так оттолкнулся – чуть выше Месяца не улетел.

Лестница-поднебесница, ведущая в зенит – такая же стеклянная, как светелка. Только стекло здесь совсем прозрачное, с добавлением мелко толчёного камня лазурита – обыкновенным глазом лестницу такую в небе не за метишь. Лазурное стекло – наподобие вулканического сплава. Крепкое. И молотком не растрескаешь.

Соколинский поставил ногу на ступеньку... И поскользнулся...

Курица внизу вдруг петухом запела. Недобрая эта примета загнала под сердце тревогу и страх. Соколиные зрачки расширились на мгновенье. Он плюнул через левое плечо. Курица не птица, что думать про нее, безмозглую.

Над крышами царских палат он прогулялся на цыпочках, боясь потревожить покой августейшего. Дальше – смелее. Дорога привычная... Прохлада за горло берёт в поднебесье. Он застегнулся на все пуговицы, повеселел; воздух чистый, звонкий, пахнет вином и голову кружит. Благодать повсюду. Такая благодать, аж глаза рассыпаются – не знаешь, куда посмотреть.

Вот заря на востоке темноту перебарывает: кипящей киноварью течет по желобу ущелья. Вот маковым цветом закидало речную стремнину – дрожит, переливается, точно русалки вышли из воды с чудесными заморскими кораллами.

Разноцветные созвездья стоят вдали – букетами, цветущими полянами раскинулась звёздная мелочь; неземной аромат сбивает с панталыку пчелиный рой, в раномутренний час покидающий таежную пасеку.

Бледно-голубую травянистую «полянку» на небе взялись выкашивать невидимые горные косцы. А рядом – желтовато-красные зёрна по синему полю широко раскидывает поднебесный сеятель.

Западный склон планеты ещё в темноте; звёзды смотрят полными глазами, лучистыми ресницами подрагивают; отражаются в речных омутках, на плоскости горного Светлотайного Озера и в далёкой Фартовой Бухте, перепаханной ветром, – на чёрно-синих отвалах водяной борозды виднеются белые гребни.

А на другой стороне горизонта – мокрая щетина чернолесья, мерцающая густо, мрачно. К таёжным вершинам склоняется, будто принохиваясь, Большая Медведица, одетая в шкуру светло-бурых облаков. Шкура дымит, до крови «простреленная» зарей. Берлогу Большая Медведица ищет – заберложить на день, отоспаться, раны зализать, чтобы к вечеру снова забраться на небо.

Всё выше, всё выше по лестнице шагает Звездочёт Звездомирович. Работу свою делает, а заодно любит свою любимую страной.

3

Хрусталь-река внизу дрожит своим текучим длинным хрусталем. Деревеньки, сырые после дождя, сверкают, словно хрустальные...

Голоса в тишине раздаются – далеко, высоко:

– Ванька, вставай! Будимир когда ишо пропел?!

– А мне хошь буди-мир, хоть буди-война.

– Я вилы возьму, окаянный!

– Встаю, Манюнечка!

На вершине далёкой горы остановилось созвездие Рака. Соколинский посмотрел на Рака, улыбнулся, слушая перепалку в крестьянской избе.

– Да когда ж ты встанешь, ирод?!

– Когда рак засвистит на горе.

– Спиртоносы проклятые! Как говорила: не связывайся ты с именами, не связывайся! А теперь лежит кверху воронкой, ждёт, когда рак засвистит...

Звездочёт Звездомирович сунул пальцы в рот и молодецким посвистом полосанул тишину деревенского утра... Иван упал с кровати.

Ого! – ошалело буркнул, потирая ушибленный локоть.

Что ты раком ползаешь? Кого там потерял? Бутылку ищешь?

Манюнечка, а ты разве не слышала? Свистели.

Свистнуть бы в ухо тебе сковородкой!

Манюнечка, гляди-кось... Рак ползет по полу! Откуда он? Манюнечка, смотри... Закуска есть, а выпить нету-ка...

Допился, хватит! Ну-ка, дай сюда игрушку, а то ещё правда сожрешь с похмелья. – Жена отобрала деревянного раскрашенного рака на цветных колесиках. – Как вчерась говорила, не пей, спозаранку подыматься, ехать нам!

А куда, Манюнечка, мы едем-то?

Здрассте, проснулся!.. Корабель сегодня прибывает из-за моря. Скупцы с товарами.

А-а! Вспомнил! Иду запрягать. В прошлый раз мы хорошо поторговали с заморышами.

– Кому хорошо, кому слёзы... Все деньги пропил да на табак заморский ухайдакал!

4

Вьётся путь-дорожка. Впереди синееет перевал. Из-за хребта в страну Святая Грусть захребетники едут. Пустая телега бренчит на камнях. Голодная лошадь едва-едва копыта переставляет (оглобля с правой стороны изглодана в щепки).

Подталкивать придётся!

Кого?

Кобылу.

Думаешь, сама не одолеет?

Сдохнет.

Да и чёрт с ней! Пешком пойдем, своруюем где-нибудь хорошего коня!

Узкая дорога прогрызла перевал, деревянную спину прогнула над пропастью: чудом подвешенный мост дрожит и качается на воловых и веревочных жилах.

Переехали мост, стараясь не глядеть в головокружительную пропасть, где лежит разбитая телега, белеют скелеты осла и лошади – до костей обглоданы зверьем и птицами.

Дальше – равнина. Точнее – горная степь. Дорога лоснится жирной змеюкой, за деревья, за кусты увиливает, прячется за дальними курганами, вспухающими по горизонту.

Лужа, грязь впереди. Копыта часто чавкают. Колёса хлябают, забытые хозяином; страшно скрипят, с каждым оборотом всё надсаднее жалуясь на непролазные хляби.

В телеге сидят Захребетники. Братья. Старшего называли Захря, младшего Бетник. Ехать скучно. Братья подремали, теперь лениво переругиваются.

Захря, чёрт! Не слышишь?

Кого тебе надо из-под меня?

Когда ты смажешь колесо?

А ты когда?

Оно мне уже уши ободрало. Скрежешет и скрежешет! Как будто пёс голодный кость грызёт!

– Тебе ободрало – тебе и смазывать.

Я вот смажу по сопатке, будешь знать.

А это как получится, братан.

Захребетники – народ бережливый. Выезжая в дорогу, ведёрко с дёгтем дома оставляют. Чернозёмная грязь на весеннем распутье краше любого дегтя.

Полчаса проходит. Захря самокрутку дососал до ногтей. Обжёгся напоследок и вместе с дымом проглотил дурохамское чёрное слово.

Правая рука у Захри шестипалая, за что его прозвали в детстве Шестипалым. Очень крепкая рука. Прямо звериная лапа какая-то. Страшная.

Левой рукой отбрасывая окурок, он остановил конягу резким движением правой.

– Ладно. Тр-р, стоять, – сказал. – Твоя взяла, братан.

Заунывная музыка смолкла. Захря поцарапал в ухе; самый маленький палец – шестой – засунул туда. Потом зевнул и сплюнул, рукава по локоть закатал, спрыгнул с телеги и проворно взялся дорожной грязью дегтарить колесо за колесом.

Братан в телеге лежал на пузе, плевал под задние копыта, усмехался, наблюдая за Шестипалым. Встающее солнце купалось в грязи, золотыми комьями сползало с пальцев, брызгало

на сапоги. В придорожной мураве пичуга трепыхалась – то ли перепелка, то ли жаворонок, трава ложилась, как живая, и вставала, роняя росу...

– Во, совсем другое дело! – Захря повеселел, вытирая волосатые руки о широченный подол рубахи.

– Пошла, родимая! Но! Чтоб ты сдохла!

Втулки, забитые грязью, сыто заурчали на ходу. Не услышав привычного скрежета, кляча остановилась, покосила фиолетовым глазом на колесо. Шестипалая рука схватила кнутовище – полоса пролегла по хребту, по костлявому крупу. Лошаденка содрогнулась от удара – дальше потянула.

Слушай, Захря, я подумал...

Неужели? – перебил Шестипалый. – Ну, наконец-то он «подумал»!

Нет, братан, серьёзно. Что на этот раз мы будем врать Царю Государьевичу?

Да мало ли... Хата сгорела!

Хата у нас уже «горела». И разбойники нас уже «грабили». И «засуха» была. И «град», и «хлад» посевы наши бил. А теперь-то что?

Шестипалая рука погладила плешину, под которой теплилась тёмная мыслишка.

Есть у меня кое-какое соображенье.

Ну?

Хоботок слону загну! Тебе скажи, напьешься в дорожном кабаке, разболтаешь первому встречному. Пока промолчу.

Молчи. Я и сам догадался. Бедняжка Доедала во дворце припас нам продуктов. Разных овощей... и вообще...

Как же, припас! Доедала – проглот ещё тот! Брюхо у него будет побольше, чем у слона. Нет, у меня надежда на царя. На добрую душу его.

Думаешь, не откажет?

А куда он на хрен денется?

Ну, дай-то Бог!

– Не Бог, а черт нам даст! – Шестипалый хохотнул и смачно сплюнул на придорожный лазоревый цвет. Слюна была такая – как будто ядовитая – цветок побледнел и завял, роняя лепестки.

5

Находясь под небесами, Звездочёт Звездомирович хмурился, глядя на заплёванный гибнущий цветок. Неужели Бог не видит? – подумал огорченно. – Как только земля их носит, паразитов таких?»

Неподалеку пролетел огненный шар – болид. Пропел комаром в тишине и укрылся за облаками. Тёплый воздух, сожжённый болидом, доплеснулся мягкой волной, обласкал человека.

«Хорошо хоть маленький, а то повредил бы мою поднебесницу, – подумал Соколинский. – Разоренье с болидами этими, метеоритами. Ловушку надо придумать для них».

Телега с захребетниками въехала на глиняный пригорок. Другие подводы с утра пораньше глину уже успели расколесить до кровянистой жижи, ручьями стекающей в канаву, а оттуда к реке.

Лошаденка почуяла что-то ужасное. Испуганно заржала и попятилась...

Огненный шар, по воздуху катящийся навстречу, ослепил животину и опалил угарною волной.

Пролетающий мимо болид неожиданно изменил траекторию, точно кто-то в небе незримою рукою подтолкнул его. Земля содрогнулась, принимая удар... Вода под берегом покрылась рябью... Взорванный пригорок лохмотьями взлетел по-над дорогой – трава, кусты... Разбитая телега на одном колесе захромала к реке, а лошаденка припустила рысью в другую сторону, зверовато храпя и взбрыкивая задними копытами, сдвоенными порванной вожжиной.

Захребетники, скуля и охая, распластались на дне свежерытой ямы, слегка дымящейся по краям. Сломанная метка прилетела сверху. Запоздало шлепнулся кусок земли. Разорванный дождевой червяк зашевелился пред глазами оглушенного Захри. Личинка майского жука пополни по шестипалой руке, оставляя строчку на мокрых волосках.

Пошевелив языком, Захря выплюнул красную глину, смешанную с кровью, и, почему-то обращаясь к дождевому червю, хрипло спросил:

– Эй, братан!.. Живой?

Тишина. Вода в реке плескалась, потревоженная взрывом. Ворона каркала вдали. Голос откуда-то из-под земли:

– Живой... А может, помер, ох, не знаю.

Головы, руки и ноги захребетников истекали дымящемся красноглиняной кровью – казались покалеченными.

– Захря, – младший брат заплакал, размазывая красноватые слезы. – Ногу мою... ноженьку оторвало начисто!

Шестипалая рука очистила левый глаз от грязи.

Где? Что? – не понял Захря.

Да вон нога валяется.

Это сапог, братан!

Сапог? А я думал, нога... Ой, правда, на месте ноженька! И задница на месте! А я уж думал, все разворотило к чертям собачьим! – Братан повеселел, поднялся и потопал «оторванной» босой ногою, будто все ещё не веря, что она жива-здоровая. – Слушай, Захря, а что это было?

Не знаю. Может быть, ядро из пушки.

Может, война?

Не похоже. Где армия-то?

– Землетрясение?... Ты что смеешься, Захря?

Шестипалою рукой показывая на младшего брата, захребетник выдавил сквозь хохот:

Ой, ну и рожка у тебя! Страшнее чертушки!

Ты на свою посмотри – залюбуешься!

Теперь хохотали вдвоем. На четвереньки падали, повизгивали, тыча пальцами один в другого; себя по ляжкам хлопали ладонями... И хохотали, и хохотали... Это был какой-то нервный, нехороший смех.

Ну, хватит, – спохватился старший брат. – Что-то мы с тобою раскатяшились, как ненормальные. Контузило, что ли? Ты как?

Ничего, – отозвался младший брат, становясь серьезным. – Только башка немного... Будто с похмелья.

Возле реки поймали лошаденку с перебитым сухожилием. Хромала, плакала – слеза текла по шерстяной щеке, Шестипалою рукой Захря вытер лошадиную морду. О рубахи отдрал кусок – перевязал кровоточащую бабку; осторожно заломил ее, проверяя подкову, – следа на счастье.

Он так и сказал, поднимая грязную подкову под берегом:

– На счастье нам! Теперь не надо ничего придумывать. Расскажем царю все, как было. Поди пожалеет? Неужели на ем нет креста?

Младший брат не слушал. Пялился на небо. Странно как-то пялился. Будто вывихнул глаза в левую сторону.

Гляди, гляди, – заметил он. – Мужик идёт по облакам!

Что ты буровишь? Голову, однако, повредил?

Ты посмотри...

Шестипалая рука подрубила встречный свет. Захря даже перестал дышать.

Не вижу ни черта.

Гляди правее месяца! Неужто...

Брось дурить!

Серьезно.

Айда, умоисся в реке. Охолонешь, пройдет голова. Что? Шибко зацепило? Кровь текёт из уха.

Это глина... А мужик-то всё одно идёт по облакам. Идë-ë-ët! – пропел «контуженый». – Неужели не видишь?

Старший брат вздохнул и согласился, не глядя в небеса, ругаясь дуροхамским чёрным словом.

Вижу, вижу, правее месяца...

А кто это, Захря? Как думаешь?

А кто по небу ходит? Господь Бог, конечно.

6

Звездочёт Звездомирович сделал несколько быстрых движений руками, «подзывая» к себе облака и туманы.

Ветер зашумел внизу. Перистое облако взялось откудато, закрыло Соколинского, затуманило синий зенит.

«Увидели! – подумал он. – Это надо же!» Постоял на облаке, посчитал окрестные созвездья над головою и дальше направился, потеряв из виду братьев-захребетников.

Взрослые люди, отягощенные земными скучными заботами, редко видят в небе Звездочёта. В основном – после выпитой литры водочки или вина, после каких-то бурных потрясений, когда с человеком происходит нечто необъяснимое («третий глаз» рождается во лбу, так мудрецы говорят).

Чаще всего Звездочёт попадался и попадает в поле зрения здешних ребятишек. Детский глаз – волшебник, помимо хрусталика в детском глазу имеется ещё и алмазик; любую прозу жизни детский глаз преломляет в большую поэзию; с годами, увы, алмазик этот меркнет, разрушается потоками солёных слез, пылью и грязью далёких дорог; только очень и очень немногие способны сохранить волшебные глаза.

Эти счастливчики, отмеченные Богом, – подрастающая замена старику Звездочёту.

Есть у него на примете одно местечко, Соколинский частенько туда заглядывает.

Вот оно – Большое Самоцветное Село – маячит среди гор, среди зеленых долов. Река блестит излучками. Кривые переулки возле реки оторочены полынями, чертополохом. Тесовые крыши. На трубах кудрявые дымники с петухами.

Обыкновенное как будто село. Но живут здесь люди необыкновенные – мастера самоцветного дела: камнерезы, ювелиры, серебрянщики. Не говоря уже о том, что именно отсюда, из Большого Самоцветного Села, на царский двор поставляют знаменитых будимиров – петухов, отличающихся изумительным самоцветным пером и самоцветным – самобытным – голосом.

Богдан Богатырь поселился на крутоярище. Сам богатырь и место выбрал богатырское – крепкий утёс над рекою.

Звездочёт спускается к земле – на три ступеньки.

Знакомое раскрытое окно увидел.

И сразу полетел из окна восторженный голосок:

Мамка! Смотри! Скорее! Из глубины дальней горницы глухо ответили:

Ну кого тебе снова? Дай поспать.

Вон дяденька идёт по небесам!

Ну и пускай себе идёт своей дорогой.

А кто это, маменька? Бог?

Может, Бог, а может, сата... – женщина хотела помянуть нечистого – поперхнулась вдруг, закашляла. Подай воды, Коляня. Вот спасибо.

А вчера он мне звёздочку дал поиграть.

– Кто?

А вон тот, который идёт по небушку.

О Господи, опять он за своё!.. – Женщина зевнула, туповато глядя в раскрытое окно. Посидела на кровати, поглядела на босые ноги с натруженными венами, пощелкала пальцами. Снова зевнула. – Коляня, окошко закрой, а то по полу тянет.

Я смотрю в окошко, мам. Давай-ка я лучше пимы принесу, чтоб не мерзла.

Ну, вот ещё! – мать усмехнулась, поднимаясь. – Буду я в пимах шарашиться, как баба старая. Чай, не зима на дворе. Ну, дак что тебе дядька-то дал поиграть?

Какой? А-а, который по небу идёт? Я на завалинке заплакал вчерась, когда ты ушла коровенку доить, а он возьми да кинь звезду... Прямо в полынь под окошком.

Ну? Так прямо и звезду?

Ну, может, звёздочку... не знаю. В полыни в этой, мамка, тама-ка сразу такие цветы зацвели – я ни в лугах не видывал цветочков эдаких, ни в стогу. И полночек стал серебристый. Я сначала думал, иньями обсыпало его. Потом сорвал, гляжу, а это сахар.

Кто это?

– Сахар. Истинный сахар. Чего ты смеёшься?

Богатыриха – ядреная, рослая.

– Саха-ха-ха! – откинув голову, хохотала она, пытаясь выговорить слово «сахар». – Саха-ха-ха... Ну, ты развеселил меня с утра пораньше! – угрюмоватое усталое лицо у женщины помолодело. Морщины разгладились. Смех отозвался огоньками в глубине зрачков. Маковый цвет на щеках проступил, как в семнадцать годочков.

Парнишка волчонком смотрел на неё. Мать болтуном его считает. Ладно.

– Ты куда, чертёнок! Стой! Босиком-то!

Коляня выскочил во двор – прямо в раскрытое окошко сиганул. Попал одной ступнею на колючки. Скривился на мгновенье, сделал губы трубочкой и выдохнул жаркую боль из груди... И заставил себя улыбнуться:

– Не веришь? Вот, гляди. Полынь?

Богатыриха перестала смеяться, чтобы не дразнить Коляню. Только живот предательски подпрыгивал у нее: там зарождался новый приступ смеха.

Ну, полынь, полынь, – сказала примирительно.

Правильно. А рядом – что? На, на, попробуй.

Коляня, да подь ты весь... Корова я тебе – траву жевать?!

Теперь Коляня прыснул; приободрился.

– Не бойсь, не отравись. Я с нею чай хлебал вчерась, вот с этой травкой.

Женщина понюхала, недоверчиво приглядываясь. На язык попробовала серебристый нежный стебелёк.

– Сладит, – прошептала. – Это что же такое?

– Сахар, я же говорю!

Изумленная Богатыриха молчала.

* * *

Двигаясь дальше по небесной тропинке, Звездочёт улыбнулся, довольный своими проделками.

Сладкой звёздной пылью посыпанная полынь блестела под окошком деревенского дома – издали было видно соколиному зоркому глазу.

Звездочёт не просто так заигрывал с Коляней; крепко надеялся, верил в него; с годами парнишка поднимется до самого неба – придёт на смену старику... И вообще он полюбил это богатырское шумное семейство.

Детей здесь было трое. Северя – старший. Василина – красавица. Ну и, стало быть, Коляня, частенько и подолгу засматривающийся в небеса.

Глава двенадцатая. Смотри и слушай

1

Царица Августина вышла из кареты. Зябко. Росный дым по-над травую стелется. Капельки росы в траве шуршат, обрываясь...

На плечах царицы теплая шаль козьего пуха – до живота свисает. Августина мечтательно смотрит по сторонам, машинально поглаживает чуть округлившийся живот. Поглаживает и улыбается беспричинной улыбкой. Старая нянька сзади подошла, спросила тихо, рукою обводя окрест:

Ну как?

Хорошо, – Августина согласно кивнула.

Во-о! А я что говорю. Бабка Христя не научит худому. Смотри, смотри, касатушка. НапITYвай себя. И ребятеночек будет смотреть – твоими-то глазоньками.

Да там ещё, Господи... – царица погладила чуть заметный живот. – Какие там глазоньки? Только-только ещё...

А вот и надо, когда только-только, – настаивала нянька. – А уж потом-то, касатушка, поздно. Гляди, вдыхай родимый святогрустный воздух. И ребятеночек вдохнёт наш крепкий дух!

Древняя бабка была. Очень мудрая. Нету нынче таких.

Она заставляла царицу побольше и подольше глядеть на прекрасное, чтобы выносить под сердцем человека с прекрасным лицом и прекрасной душою.

Человек состоит из того, что его окружает. Душа его, дух его зарождаются из неповторимого, незримого воздуха Родины. Это небо, эти берега, эти перелески и дубравы... Именно здесь и именно сейчас происходит великое таинство зарождения духа. Поверить в это сложно, почти невозможно, однако – факт. Поэзия начинается в простой житейской прозе. Сверкание сизых ранозутренних рос – будет позднее сверканием человеческих слёз. Шепот листьев и шорохи трав – будут его сокровенными голосами. Сверкание звезды на небосклоне станет его путеводным огнём, который светит, манит даже днём... Гармония запахов, звуков, краски, полутона, светотени и что-то ещё – многообразное, неуловимое, не имеющее названия и объяснения – весь Божий мир воздействовал на крохотную жизнь, только-только затеплившуюся под сердцем Грустины.

Старая нянька замечает невольную улыбку на её губах и тоже улыбается, приговаривая:

Так, так, смотри, касатушка. Смотри и слушай.

Это кто ж там?

Аль не узнала?

Соловушка?

Соловушка, победная головушка. Што вытворяет, скаженный!

Соловей в соседней роще пел, старался, как будто специально для царицы: сегодня звуки его песен были особенно обворозительны; замысловатые узоры его песен – виртуозные коленца, петли и пассажи – напоминали умопомрачительный узор искусной вышивальщицы мелким бисером...

Это придворный птицелов, наверное, проявил великое усердие, где-то раздобыл такого соловья, – сказала царица, поправляя теплую шаль на плечах. – Раньше я такого соловья не слыживала.

Скоро ты скажешь, касатушка, и другое... – Старая нянька с неожиданной ловкостью наклонилась, будто исполнила глубокий поклон перед царицей. Под рукою пискнул стебелек

цветка. – Понюхай, понюхай, касатушка. Скоро ты будешь говорить, что таких цветов ещё не нюхивала.

Да он и в самом деле пахнет... как-то чудно и незнакомо, – призналась царица, чуть покраснев от смущения.

– Хорошо, касатушка. Это хорошо.

Спустились к реке. Тёплый пар от воды ненадолго скрыл фигуру царицы. На траву полетели одежды... И вдруг из тумана, из тёплого пара появилось обнаженное тело – белое, статное, как будто сошедшее с картины.

– Ай, хороша, касатушка! – вздохнула старая нянька. – Ну, прямо на меня похожа!

Царица посмотрела на неё с недоумением. Бабка Христя махнула рукой, засмеялась.

– Теперь-то я квашня квашней. Я говорю, по молодости я была такая же, касатушка, ей-богу.

Царица тоже засмеялась, приседая и ладошкой пробуя парную воду.

Нянька спохватилась:

Да ты раздетая?! А ну-ка, одевайся. Вдруг застудисся, што тогда?

Оденусь, погоди, дай искупаться в парном молоке.

Вон што она вытворяет! Ну, дак плыви скорее да вертайся, рыбка золотая...

2

Просыпается родимая страна – из края в край перекликается птичьим голосом и человеческим.

Из-за перевала выгребаются облака, лбами курчавыми тычутся в гранитные лбы – нежный серооблачный каракуль сдирается с брюха, с боков, пучками остается на кустах, болтается на влажных пиках елок.

Промокшие пастухи – на рассвете сыпанул тёплый дождик – взялись на голубоватой излучине костерок оживлять. Отраженное пламя под берегом шевелило красноватым плавником и уходило на дно. Склоненная верба неподалеку стояла – выгнутым удилищем, паутинка белёсая билась на ветру обрывком рыбачьей лески.

Овечья отара, кнутами трескучих молний сбита в шерстяной комок, испуганно прижалась к подножью скалы. Три-четыре овцы, заплутавшие в тумане, блекотали за ручьем, распухшим от дождя. Пастухи кричали что-то. Один из них бродом побрёл – грязные босые пятки оставляли на берегу продолговатые лунки, лоснящиеся жирным чернозёмом, перемешанным с травинками и лепестками цветов.

А над этими земными пастухами – звёздный Волопас виднеется, своих волов пасёт на поднебесных пастбищах; тучные, косматые волы; набили брюхо за ночь; сытые звездастые глаза слипаются – утомленный Волопас уходит на покой.

По берегу Хрусталь-реки прошлёпал сонный рыбак, итогами сырую траву причесал на кособоре – сизый след вздымился.

Туман проглотил рыбака. Голоса за туманом:

– Клюёт?

– Не, балуется тока.

На заре должна клевать.

Должна, да не обязана.

Теперь обязана!

Это почему же?

Был царёв указ. Посмеялись, потом вздохнули:

Да-а, вот хорошо бы указ такой! А то сижу, сижу... – пожаловался пожилой рыбак. – А ты из городу? Что там слышать? Казнили?

Ждут палача, – ответил молодой.

Да вроде бы должен быть ещё вчера?

– Шторм, говорят, задержал корабель.

Рыбаки закурили. Молчали. Молодой присмотрел себе место – неподалеку. Приманку в воду бросил – пшено с тихим звоном проткнуло поверхность; пузырьки повскакивали там и тут, словно глаза водяного, изумлёно посматрившего на мир.

3

Сверху Звездочёту было видно, как в реке за островом обломок белой молнии судорожно бился, напоминая большую рыбину, буром побежавшую на нерест – и застрявшую на камнях переката: вода кругом кипела, пенилась черемуховым цветом. Рыба-молния с каждой секундой теряла силы, кровь теряла – заревыми лучами текла. Белая «рыбья» хребтина померкла. Серебристой чешуею по реке побежали искринки засыпающей рыбы-молнии.

Рыбаки смотрели – не могли понять.

Что там? Глянь-ко! – спросил пожилой.

Стерлядь играет, наверно.

Не-е, на осетрину похоже.

Здоровущий, бугай! – похвалил молодой.

Пудика на два потянет!

Ага, не меньше.

– Эх, неводом бы, неводом зацепить бы его! То-то была бы уха!

– Из петуха, – задумчиво срифмовал молодой. – Уха из петуха, я слышал, будет нынче во дворце. Будимиру кто-то скрутил башку.

Будет врать! Когда скрутили? Он только что зарю прокукарекал.

Не знаю. Бабы ввали у колодца, я услышал, когда на рыбалку пошёл.

Звездочёт остановился на своей поднебесной дороге. Усмехнулся, думая: «Вот так-то в нашем царстве-государстве сплетня рождается. Ладно, дальше идём. Не забыть бы, сколько насчитал. Во, а кто это едет по берегу? Царская карета? Августина августейшая опять куда-то... И куда это они с бабкой Христиной зачастили в последнее время? Катаются по утрам и вечерам, а того не видят, что за ними охотится наконечник поющей стрелы. А у меня во лбу всего два глаза, а на затылке вообще ни одного – я не могу за этою стрелою уследить. Вчера едва успел отвести беду от Августины. Сегодня снова сторожи. А кто за меня посчитает алмазные россыпи в небе? Небось, когда закатится – вынь да положь вам небеса в алмазах!»

4

Оранжевый Арктур горит в созвездии Волопаса, сияет из последних сил на юго-восточной окраине светящегося неба. Арктур – самая яркая весенняя звезда. Оранжевыми паутинками отрываются от неё трепетные лучи – летят, летят по ветру и цепляются за горные вершины, падают в туманное бездонье пропастей и попадают в прохладные хвойные лапы.

Кусты зашевелились, роняя росы. Шепоток в кустах:

Глянь!

Чего там?

Девка голая купается!

– Ну?... И правда... Ух ты, тля... – Он выругался. – Пойдем, пощупаем!

Сиди, не мыркая. Вон карета, видишь? Царская карета. А там – за деревом – ишо одна. Там гренадёры с пищалями.

Дак это што – царица?

Выходит, што так.

Ух ты! Никогда не видел ни царского заду, ни царского переду!

Тише, скалится тут...

А што она, дура, купается здесь? У их под окошком пруды.

– Царская блажь.

– Ну, известное дело. Кто-нить когда-нить её ублажит.

Сырые кустики сомкнулись. Два дуροхамца, пригибаясь, ушли с поляны. За плечами одного из них – увесистый бочонок, перетянутый медными полосками. В бочонке глухо плещется ведёрка два спиртяги. У другого за плечом – старое кремневое ружьё и такой же бочонок.

Спиртоносы уходили от Фартовой Бухты; там у них секретные подвалы с этим зельем.

Разбередила душу, баба чёртова! – признался молодой дуροхамец. – Давай по стопарику тяпнем?

А потом? На подвиг не потянет?

Не-е, для сугреву. Промокли же, ёлки, под дождиком.

Старший дядька промолчал. Только сапоги скрипели, разгрызая камешки на пути, растапывая синенький да красненький цветок – сыроватое рыло сапог припорошило пылью. Так прошли версту, другую... Птичьи голоса весёлым бисером вышивали сиреневую тишину в деревьях, костлявыми руками держащих то сосновую иголку, то крепкую и длинную бояркину иглу. Иволги, дрозды строчили в сумраке. Соловей узоры выбивал. Глухари на токовищах угорали, разноцветным веером раскидывая крылья и хвосты.

Молодой остановился, похрипывая горлом. Скинул под ноги бочонок.

Отдохнем. Што ты прёшь, как сохатый?

Отдыхай, только не очень, – сказал старшой, показав глазами на бочонок. – А я с ружьишком прогуляюсь, может, кого сострельну для похлёбки.

Старшой потянулся, расправляя плечи, натянутые грузом. Звали его Спиртодон – ну, то бишь Спиридон. А прозвище было и того интереснее: спиртонос по кличке Спиртувнос. Дело в том, что он спирту никогда не пил, а только в нос закапывал, да и то по праздникам. Есть у него наперсточек из серебра. Возьмет, закапает с наперсточек, повеселеет малость, окосеет на полглаза, и хватит. Меру знал – немыслимое дело для многих мужиков, особенно для дурохамцев. За это его ценили, уважали. И на этом как раз он наживал себе состояние: пока другие дурели и хамели во хмелю – этот ходил, торговал, мошну золотьём набивал.

Дубравы светлели, и жизнь о себе заявляла все громче, все веселее.

Вверху что-то хрустнуло. Спиртодон ружьишко вскинул... И подумал, опуская: «Ишь ты, паразит, какой красавец!»

Двухметроворослый величавый зубр, пасущийся по белокопытнику, легко взошёл на голую вершину – многопудовым чёрным силуэтом нарисовался на фоне светлеющего неба, размашистыми рогами «поддел» синеватое облако, плывущее над головою. Застыл на несколько ми-пут, словно зачарованный рассветом, открывшимся с вершины.

Молодой чуть слышно по траве подошёл к Спиртодону.

Свежий воздух за спиной погиб – запахло перегаром.

Стреляй, чего ты? Спирту в нос тебе!

Жалко...

Ну, одного-то можно? Дай ружьё! Спиртодон!

Какого «одного»?

Да хоть того, хоть этого. Они же одинаковые, твари!

Старшой повернулся. Ухватил за грудки молодого, потряс.

Я же сказал тебе, не пей, зараза, много!

Да я и так... я тока пригубил.

Ну и здорова губища у тебя!

А што такое?

Где ты видишь двух быков?! У тебя же двоится уже... Как мы дальше пойдем?

Заслышав голоса, могучий зубр покинул голую вершину.

Поправляя смятую рубаху на груди, молодой спиртонос проворчал:

– Ну вот, теперь ни одного. Упустили, ёлки. Одного-то можно было хлопнуть.

Спиртодон поглядел на хмельного парнягу. Разозлиться хотел, разгон учинить. Но вдруг повеселел и сплюнул под ноги. Ружьишко за плечо закинул и сказал:

– Здесь царские владения. Пальнешь, потом на плаху поведут, – старшой потянулся. –

Хорошее утречко, так его! В нашем Дурохамском Дуролевстве я никогда не видел такого утра!

Да ты вообще дуροхамец ли?

Наполовину. Мамка святогрустная была.

Оно и видно.

Почему?

Не пьёшь, не куришь. Зубров пожалел. Уж одного-то можно было грохнуть.

Спиртодон засмеялся.

Нравилась ему эта земля; родная как-никак, хоть наполовину, а родная. И появилась даже тайная мыслишка: богатства побольше сколотить да пойти с челобитною просьбой к царю – пускай принимает к себе. Надоело, дескать, жить с дуροхамцами. Небось, не откажет, царь добрый здесь.

5

Поднимаясь над горами, солнце растягивало красную улыбку вдалеке. Умытыми щеками сияли золотые купола Царь-Города. Солнечными зайцами поигрывали высокие окна боярских теремов, купеческих хоромин... Круглые далёкие озера за холмами, налитые светом, желтели, как шляпы огромных подсолнухов. Светло-берёзовые русла ручьёв и рек, отражая зарю, приобретали цвет красноталов, подрагивающих на ветру...

Завиднелись купола и домики соседнего царства-государства, расположенного за хребтом, – захребетники там проживают. Паруса кораблей забелели в безбрежных просторах... Это заморыши – гости заморские – опять зачем-то гребут, спешат в гостеприимную страну Святая Грусть.

Глава тринадцатая. Фартовый парень Серьгагуля Чернолис

1

Царские Палаты имеют столько закутков, подвальчиков, подвалов, заброшенных комнат, где хранится всякая всячина, – можно легко заблудиться, а при желании очень легко где-нибудь притулиться.

Бедняжка Доедала нашёл себе пристанище в тёплом сухом углу Дворца. Здесь пахло пылью, парчою – тюки разноцветной парчи были навалены под потолок. В другом углу под самым потолком – слабый солнечный свет кое-как протиснулся в игрушечное оконце – чуть больше ладони.

Сегодня в гостях у Бедняжки – фартовый парень Серьгагуля Чернолис. Гостя надо угощать. А как же? Да ещё такого дорогого гостя.

Доедала вытащил баранью ногу, завернутую в парчу. Два арбуза выкатил. Зелёный штоф с вином.

Друг познается в еде, как говорил мой покойный тятя. Ну, угощайся.

Да я на минутку к тебе.

Всё равно присаживайся. Шапку можешь снять, здесь жарко.

Нет, я хорошую мыслишку застудить боюсь.

Серьгагуля выпил царского вина. Захорошело под сердцем. И закусить захотелось. Он поправил шапку – сдвинул на затылок. Закатал рукава. Раннее детство его прошло, говорят, среди туземцев на островах Океании. Это было похоже на правду. Пищу Серьгагуля руками хватал из тарелки. Хватал – торопился, как будто из горла могут вырвать кусок. Жир капал на одежду, за рукава затекал желтоватыми ручейками.

Бедняжка Доедала сам был страшен во время еды, но этот парень – ещё страшнее. Вот уж действительно: «друг познается в еде».

– Всё, хватит, некогда. Ещё винца глотну и побежал.

Серьгагуля уже вознамерился рукавом утереться, но Бедняжка протянул ему платок. Богатый платок был – красная парча с махровой кисеей. А Серьгагуля взял его, будто портянку. Торопливо, как попало вытер лоснящуюся рожу. Наморщил нос и неожиданно сморкнулся.

Куда! Зачем в платок-то?!

А куда? – не понял Чернолис. – На пол, што ль?

Доедала обиделся:

Ну не в такой же платок!

Ничего, разживешься другими платками, – сурово отчеканил гость, сдвигая на лоб шапку из чёрной лисы. – Будь здоров, Бедняжка. Я побег.

Давай, попутного тебе... Когда обратно ждать?

Загадывать не буду. Скоро, думаю. Печать-то настоящая? Впросак не попадем?

Впросак – это не знаю. А то, што печать настоящая, – клянусь животом.

Серьгагуля похабно улыбнулся жирными губами, плохо вытертыми.

– Эге-е... Животик ты себе наел! Говорят, царица думает рожать? А я дак думаю, што ты скорей родишь.

Бедняжка Доедала стал багроветь.

Тебе одной печати мало? – тихо спросил, поднимая упитанный сочный кулак. – Могу ещё одну печать... Тоже настоящая!

Ты смотри, обидчивый какой?!

А ты думал, я стану молчать? Врежу в ухо так, што и серыгу свою днем с огнём не найдешь!

Серьгагуля не скрывал удивления:

Молодец, Бедняжка. Отъелся, осмелел.

Ладно, чертов зубоскал. Иди, иди скорее, покуда Охра не пожаловал сюда.

А што ему здесь надо?

Почуял, видно, што-то, кривоглазый.

Надо прижать его где-нибудь в темном местечке и это... Надо вылечить его от косоглазия.

Говорил Серьгагуля по-доброму, даже сочувственно.

Бедняжка Доедала растерялся.

Как вылечить?

Просто! – в руке у Серьгагули вдруг возникло синеватое лезвие. – Р-раз! И в глаз!

А-а, так-то? Можно. А то уж я подумал, што ты всурьёз...

Да можно и всурьёз. Я видел одного заморыша со стеклянным глазом. Красиво, бляха-муха, от живого хрен отличишь. Толку, правда, мало от такой стекляшки. Зато красиво.

Серьгагуля спрятал нож. Бумагу с царскою печатью за пазухой проверил, покидая пыльный душный закуток.

2

Старинный Кремль посажен мастерами на воздушные подушки: под землею тайные ходы пробиты на случай осады, пожара и во избежание другого лиха.

Сумрачно. Сухо. Покойно. Плесень кое-где цветёт, паутина выткалась широкими холстами, украшенными крылом стрекозы, изумрудиной усохшей крупной мухи, непонятно, как сюда забравшейся.

Горизонтальный ствол – неширокий, но длинный проход – раскидал направо и налево большие «ветки», ведущие в тупики, ловушки для непрошенных гостей. Каменистые чёрные «дупла» в этом стволе заняты мышинными гнёздами – земными тварями. А кое-где приютилась летучая мышь – жуткий вампир-кровосос. Давненько люди здесь не проходили. Старая мышь запищала, предупреждая свой многочисленный выводок. Мышата сыпанули в темноту – затаились в норах.

Подземный ствол забронзовел, будто покрылся вдалеке сосновой корою, – свет затрепал. Дымком запахло.

Серьгагуля Чернолис факел запалил. Торопливо шагал и всё время оглядывался. Пыль под ногами пыхала, раскручивая кольца... Фиолетово-красные капли с факела тянулись кровавою соплей – слетали, по-мышинному попискивая впотьмах...

Кое-где он пригибался, опасаясь как бы ни стукнуться. Серьга сверкала в ухе – блики брызгали на щеку. Шапка из чёрной лисы, надвинутая на брови, вдруг обретала размеры какой-то необъятной шапки Маномаха.

Иногда ходок неожиданно остановился, брезгливо смотрел под сапоги. Ему казалось – мышь раздавил.

Родившийся на островах Океании и какое-то время проживавший среди туземцев, Серьгагуля Чернолис привык терпеть невзгоды, ночевал, где придётся, и жрал, что подвернётся. Только мышей он не переваривал – в буквальном смысле слова и в переносном. У него привычка спать с полуоткрытым ртом. И вот однажды в детстве мышь залезла в рот...

– Тьфу, в рот бы ей! Хорошего кота сюда бы! – пробормотал он, снимая паутину со щеки. – А лучше бы голодную лису. Помышковала бы, курва, порадовалась.

Серьгагуля Чернолис торопился к Фартовой Бухте.

3

Биография была у него очень пёстрая. Родившись в Туманном Заморье, он сиротой остался к трём годам. В шесть лет – уже геройский парень! – на корабле с командой заморышей попал он в Дурохамское Дуролевство, в безумно веселящийся город Дурохамск. Дураки и хамы очаровали его, научили на голове ходить, жить без креста, без совести. В Дурохамске судьба свела его с могучим парнем Коронатом Самозванцевым, который почему-то считал себя некоронованным царём Святогрустного Царства. Коронат говорил, что корону у него украли. «Кто? Царь Грустный Первый и он же последний!» – говорил Коронат, похохатывая и показывая свою жуткую пасть; у него там было не 33, а целых 66 зубов, которые сверкали таким сатанинским оскалом, как будто 666...

Однажды летом Коронат Самозванцев сколотил небольшую флотилию. Под парусами, на вёслах и бечевой прошли они чертову уйму многотрудных расстояний и причалили к светлым берегам Фартовой Бухты, где было немало фартовых ребят, но таких, как эти дуροхамцы, здесь ещё никто не видывал.

Дурохамцы готовились к походу на Царь-Город. Изучали подземные ходы под Святогрустным Кремлём – многочисленные лабиринты выводили к Хрусталь-реке. Делали подкопы к пороховым погребам, чтобы в нужный момент захватить их, лишая охрану малейшей возможности сопротивляться. Все было обмозговано, на семь рядов отмерено – и можно было резать.

Кто их выдал? Неизвестно.

Провалились подкопы – и всё дело провалилось в тартарары. Короната Самозванцева с товарищами забили в колодки и отправили в черную глушь – на Столетние Стоны. И Серьгагуля должен был бы «стонать» с ними имеете, но, видать, не судьба. Коронат в ту пору снарядил его гонцом – нужно было срочно стонать в Дурохамское Дуролевство. Серьгагуля на всех парусах смотался туда и обратно. И оказался у разбитого корыта.

Серьгагуля был крепкий, ладный парень, смазливый, только злой на весь мир, лишивший его родительской ласки и житейской бесхитростной сказки. Характер скандальный, занозистый. С какой стороны ни погладишь его – один чёрт, об занозу поранишься.

А после того, как случилась беда с его другом Коронатом, посягавшим на Святогрустную корону, Серьгагуля вообще стал неуправляемый.

Он с юности считался первым драчуном в Дурохамске; весь город фонарями награждал: и захребетникам, и заморышам, и дуροхамцам – всем доставалось.

А теперь вся Фартовая Бухта страдала от Серьгагули.

– Я добрый, – признавался он. – Мне фонаря ни для кого не жалко.

И правда... Вечерочком, смотришь, кто-нибудь из заморышей причалил к берегам Фартовой Бухты. Вышел – твердь ощутил под ногами. Постоял, по сторонам поглядел. Куда идти? А вот она, Кудыкина гора. Точнее сказать, Пьяный Яр. Ноги сами собою в кабак приведут моряка и всякого другого мужика, это уж дело известное – такое устройство ног.

Чуть позднее, когда потемнеет совсем, кубарем слетит моряк с Пьяного Яра и на четвереньках пойдет по грязи. Фонарь под глазом тащит, дорогу до причала освещает и Серьгагулю благодарит:

– Вот какая шучья бухта! Утопнешь в грязи! Это ладно парень мне подарил фонарь, а то бы всё... Утоп на чужедальней стороне. На море-окияне уцелел, а тут захлебнулся бы, ей-богу захлебнулся бы, не окажись под глазом фонаря.

Попадало и самому Серьгагуле. И хорошо попадало. Другой давно бы кровью выхаркал нутро и навек успокоился бы где-нибудь в лопухах. А этот – нет. Живучий, как черт знает кто.

Однажды в потасовке темечко ему стесали топором. Сняли крышку с головы, так страшно сняли – мозги было видно.

Бледный, злой, он потребовал стакан спиртяги.

Тяпнул и занюхал рукавом. Завеселел.

А правда, что ли, видно?

Кого? – Рядом с ним крутился коновал, зашивать готовился.

Ну, мозги-то? Есть, говоришь?

Есть... Потерпи маленько.

Во-о-т! – Серьгагуля скрипел зубами. – Дурохамцев надо бы сюда позвать!

Сами управимся, – коновал плохо слушал его.

Дурохамцы, – продолжал Серьгагуля, – безмозлым считают меня. Вот щас посмотрели бы и убедились, что не правы.

Коновал затянул кое-как рану суровыми нитками. Лужу крови подтер под ногами.

Кожа нарастет, – сказал, – мозги прикроет.

Жалко, – Серьгагуля пошатал побитый зуб. – Значит, так никто и не увидит, что я не только фартовый парень, но я ишо и не безмозглый.

Погоди кочевряжиться, – остановил коновал. – Кожа нарастет, но если кто случайно пальцем ткнет или даже воробей на темя сядет, клюнет – хана фартовому.

Побледнев ещё сильнее, Серьгагуля встал. Покачнулся. И вдруг сграбастал коновала за грудки. Подтянул к себе. В глаза – глазами впился. И прошипел, как страшный змей:

– Если кому-нибудь скажешь об этой моей слабине...

Коновал ничуть не испугался; с кобылами и жеребцами воевать приходилось, а не то, что с каким-то фартовым.

– Да мне-то что? Я промолчу. Только весь кабак свидетель был, как тебе раскроили башку.

Серьгагуля отпустил его. Спиртяги хватанул ещё. Задумался. Как жить теперь?

А через несколько дней увидели его в чёрной лисьей шапке, под куполом которой (никто не знал) была защита полукруглая железка от рыцарского шлема.

С похмелья, а может с каких-то сумбурных своих побуждений – запёрся он в то утро в Божий храм, стоящий на возвышении Фартовой Бухты.

Ирод! Шапку-то сыми! – зашикала какая-то мрачная монашка. – Небось не в кабаке.

Я бы снял, бабуля, да не могу, – шепнул он.

Это почему?

Серьгагуля осторожно постучал по шапке.

А у меня под ней мыслишка преет, застудить боюсь.

Тьфу на тебя, сатана!

Серьгагуля расхохотался, оглашая своды храма и нахально глядя в глаза монашке. Она хотела пересилить взгляд охальника, но отвернулась. Было что-то в глазах у него бесовское; тёмный засаленный взгляд гадюкой ползал по человеку, в душу норовил скользнуть – в самое сердце ужалить.

4

Подземный лабиринт закончился. Дышать стало легче. Серьгагуля осторожно выпрямился; инстинктивно голову берёт.

Выход замаячил впереди – полукружная гранитная арка, замкнутая сверху клиновидным «замковым» камнем. Свежо, приятно. Паутиновая сеть качает капельки дождя: ползают хрустальными жучками, на землю скачут.

Парень вышел, оглянулся. Замковый камень вырублен в виде звериной морды; хвостом свисает корешок травы, проросший среди других камней.

Чернолис оглянулся, чтоб запомнить место выхода наружу. Ещё не раз придётся туда-сюда побегать.

Спускаясь к берегу, Серьгагуля продолжал нести перед собою зажженный факел. Остановился и хохотнул над собою. Бросил факел в лужу под ногами. Вода зашипела, пополз голубоватый дымок. Смола, сопротивляясь, горела, расталкивая мутную жижу: пузыри вереницею отбегали от черно-лиловой головешки. Завиднелось грязное днище выкипающей лужи.

Испытывая сатанинское удовольствие, наступил сапогом – раздавил последний огонёк, плюнул, поправляя шапку, и пошёл, не забывая оглядываться на всякий случай: а вдруг погоня. Тут не зевай.

По гранитным кручам – скок да скок – Серьгагуля спустился к воде.

Широкое течение Хрусталь-реки шумело, заглушая пение птиц, только видно было, как дрозды и нарядные иволги «молча» раскрывают клювы, перепархивая с ветки на ветку – подальше от человека. Мокрые перья на птицах топорщились. Тёплый пар из-под кустов, из-под камней выпаривался рваными космами, будто зверь поднимался из потаенного логова.

На берегу должна быть лодка; Бедняжка Доедала клялся животом. Серьгагуля походил по берегу, отыскал три дерева, о которых говорил Доедала. Пошарашился вокруг да около. Наклонился и увидел что-то... Чёрную лису поправил на голове.

– Вот же курва! – воскликнул, добавляя пару непечатных выражений, какими богата Фартовая Бухта. – Что теперь? Как быть? Украла мою лодочку.

Жил Серьгагуля воровством и про других так думал.

Чернющие потоки дождевой воды, бушевавшие здесь недавно, слизнули лодку с берега: только обрывок верёвки остался – щучьим хвостом по воде колотился. Серьгагуля раздраженно дёрнул «щучий хвост». Остаток пеньки оторвался, поплыл, отброшенный.

Парень потоптался по песку, по гальке. Поглядел на небеса, на воду.

Богатые – не иначе краденые – часы достал из кармана. Покусанным ногтём защёлочку зацепил. Откинута крышка выпустила музыку на волю, будто ласточка в руке защебетала...

Не дослушав приятной мелодии, Серьгагуля хлопнул крышкой. Помрачнел. Торопиться надо. Что же делать? Хоть бросайся в омут головой и самосплавом гребь по реке, побелевшей от бешенства, – распёрло дождями, подтопило острова и песчаные релки, где стоят осинники, берёзы, полощут ветки в пробегающей волне.

Мрачней, Серьгагуля резко поправил чёрную лису на голове.

«Ну и что, фартовый? Какая мыслишка у тебя под шапкой нынче преет? Пойду вниз по течению, там видно будет».

Он был действительно фартовый парень: судьба ему частенько улыбалась (хотя и зубы волчьи иногда показывала). Подфартило и на этот раз. Перевернутый плотик нашёлся на берегу – старый, шаткий, бросовый, перевитый красноталовыми прутьями, измочаленными на камнях перекатов. Но ничего, сойдет.

Серьгагуля оседлал его и айда понужать берёзовой палкой вместо весла.

Хрусталь-река хрустела битым хрусталем – осколки прозрачного льда выносило откуда-то из притоков. Осколки с перезвонами разбивались о плотик, сверкали в ногах плотогона. Зимним духом веяло от яростной реки, гам и тут вскипающей водоворотами, – пена рваным кружевом кружилась... И кружился несчастный плотик, готовый перевернуться... Кружилось небо... Береге берегом кружились, будто бы играли в догонялки, сливаясь вдруг в единую

полоску, в заколдованный круг, из которого, кажется, невозможно вырваться живьем – окровавленный труп волны выкинут к берегу.

До тошноты измотало фартового... Чёрную лису чуть не сорвало с головы – прибрежная ветка ударила. А потом чуть голову корягой не снесло – за поворотом торчала деревянная лапа, точно специально поджидала.

Ближе к морю успокоилась Хрусталь-река – широко, вольготно разлеглась, покачивая плотик, словно колыбельку.

Бараньи Лбы сверкали закатным солнцем – большие лысые бугры из прочных горных пород, отполированных древними ледниками. Чайки отдыхали на Бараньих Лбах, пузатые бакланы, обожравшиеся рыбы.

Серьгагуля увидел «баранов» и заулыбался им, точно друзьям-товарищам, пришедшим встречать его.

Теперь уже близко. Бараньи Лбы – граница пресной воды и солёной. Уже пахнет морем – йодистый, ноздри щекочущих дух. Уже завиднелся маяк на окраине серого мола.

5

В кабаке – непривычно тихо, малоллюдно. И потому кабатчик запропал куда-то – не торопится выйти.

Сова! – разъярённо рявкнул посетитель. – Ты где? Заснул?

Я здесь.

Лети сюда! Скорее! – Серьгагуля выругался чёрным дурохамским словом. – Выпить дай, чего стоишь, глазами хлопаешь?

Замёрз?

Не говори... Как с-собака п-последняя!

Савелий Дурнилович засуетился. Притащил и поставил перед товарищем «Кубок большого горла». Присел на краешек дубовой табуретки. Выжидающе смотрел на Чернолиса.

– Какие новости? – осторожно поинтересовался кабатчик после того, как приятель выпил.

Кулаком вытирая жёсткие тонкие губы, Серьгагуля бросил короткий взгляд в окно – серьга сверкнула в ухе.

Как стемнеет – пойдем.

Далеко?

На маяк.

Кабатчик возбужденно засопел, обрадовался:

Будем брать на абордаж?!

Никакого абордажу. Всё должно быть тихо.

Ясное дело. Песни петь не будем. Ещё налить?

Давай. Чуть не утоп в реке, спешил. Да принеси чего-нибудь пожрать. Не скромничай.

Глава четырнадцатая. Горилампущка

1

Старый смотритель маяка – Егор Евлампиевич. Для краткости – Горилампиевич, Горилампущка. Добродушный святогрустный человек, большой ребенок, всю свою жизнь «играющий с огнём». Горилампущка без ума, без памяти влюблен в маяк. Влюблён давно и, может быть, даже сильнее, чем в свою жену, бывшую когда-то первой красавицей. (Вот почему она и ревнует его к маяку; особенно когда он ночью туда уходит).

У Горилампущки много друзей среди моряков, капитанов. Есть даже такие, кто искренне считает Горилампия своим крёстным отцом, родителем-спасителем: не раз и не два бессонное око берегового огня выручало мореплавателей, застигнутых штормом. В прошлое лето, к примеру, явился к нему один такой заморыш – рассыпался, рассыпался в благодарностях, а потом подарил изумруд, крупный, отшлифованный. Изумруд считается камнем капитанов, камнем, способным спасти от морской губительной стихии. У капитана ничего дороже не было. Отдал Горилампию, расцеловал старика и сказал, что кроме всего прочего у этого камня есть ещё и такая волшебная сила: когда на изумруд посмотрят злые духи, джинны – ослепнут; глаза у них вытекут. Горилампущка долго не принимал подарок. «Больно дорогой да больно страшный камень, – признался он. – Я ведь и сам бываю иногда злым духом. Осерчаю, бывало, на старуху свою, злой хожу, не дай Бог, какой злой. И что же это будет, ежели я на энтот камень посмотрю – глаза у меня вытекуть?» Капитан-заморыш смеялся, уговаривал принять подарок, поскольку от чистого сердца дарил.

Горилампий спрятал камень от греха подальше, пока глаза не вытекли.

2

Проснулся Горилампущка за полночь. Тихо было в доме, тихо и тревожно; три дня штормило за окном, а тут – как будто высохла вся бухта.

Мышь под полом пискнула, пробегая по своим делам. Кот на печке приподнялся, мурлыкая. Белая кошачья мордочка во мгле замаячила. Коту поспать хотелось, но он почуял беспокойство Горилампущки; на лавку мягко прыгнул, потом на пол; потянулся возле специальной проруби в доске – неохотно полез в подполье, сердито фырча на проклятую мышь.

Сухим тревожным взглядом Горилампущка проводил кота. Послушал муху, спросонья забрызжавшую в углу окна. Приподнялся на локте. Кровь зашумела, приливая к голове и наполняя уши перезвонами. Сердце больно подтолкнуло в бок – вставай, мол, тетеря, проспий. Но Горилампий не мог ещё понять причины своей тревоги.

Всё в комнате было спокойно. И за окном спокойно.

Мягкие отблески маяка ложились на окошко, половицы подкрашивали у порога. Икона святого Николая Чудотворца поблескивала дорогим окладом...

И вдруг... за стеною почудилось что-то. Вроде как шаги... И вроде шепотки... И на верхотуре маяка пламя вдруг ходуном заходило, рождая необычные уродливые тени, взметнувшиеся до неба... Потом как будто заскрипел засов, ломаясь, и чуть звякнул, падая. Кто-то забрался в каменную башню маяка.

И путеводное пламя погасло.

Горилампущка всем телом вздрогнул в темноте. Нужно было вставать, даже не вставать, а вскакивать – бегом бежать. А он вдруг ослабел от страха, вспотел в одно мгновение и, едва-

едва привстав на кровати, снова опустился мокрым затылком на подушку. Рука его, словно бы сведённая судорогой, белый край одеяла свирепо скомкала и отшвырнула, оголяя старуху, лежащую рядом.

Она спросонья пробормотала:

– Ты чего подхватился?

Он прикрыл одеялом её обветшалую грудь.

– Спи. Я огонь проверю.

Ощущая под коленками противное подрагивание, Горилампушка в сени направился. Там прохладно. Тихо. Голубоватым светом сочилась вверх небольшая клиновидная щель – старые доски разошлись. Клиновидная полоска света лежала на полу в сенях, обломившись на пороге и до половины перечеркивая дощатую дверь.

Горилампий глянул на ружьецо, висящее в углу. Тревога щемила под сердцем, щемила сильнее, сильнее. Ружьецо висело без патронов, но искать их – в избу возвращаться – не хотелось. И тут он вспомнил про изумруд, подарок капитана: злые духи посмотрят на камень – ослепнут; глаза у них вытекут.

Изумруд находился на дне сундука, стоящего в дальнем закутке сеней. Горилампушка вывалил под ноги целую гору каких-то старых разноцветных тряпок – платки, носки, понёвы, сарафаны, пояски. Запахло тряпичной пылью. В полумраке запорхала моль, стараясь вылететь в голубоватую клиновидную щель. Горилампушка едва не чихнул. Глаза вдруг заслезились от чего-то едкого и неприятного. Он заругался шепотом:

– Твою мать-то, бабку эту! У самого глаза вытекут, пока сыщешь каменюку энту! Что за бабка? Тряпки сжечь пора, так нет... Старьё собрала!

Не отыскав изумруда, Горилампушка взял ружьё – кроме него никто ведь и не знает, что оно без патронов. Выйдя на крылечко, он огляделся, прислушиваясь к большому оглушающему покою. Следом за ним – в раскрытые двери – брызнули две малые моли, закружились, точно в водоворот попали.

Над Фартовой Бухтой пробежали остатки облачности. Луна горела в стороне – высоко, равнодушно. Бараньи Лбы сверкали на своём привычном месте, похожие на маленькие луны, рассыпанные по берегу. На дальнем дворе забрехала собака: по распадку – эхом – прокатился многократный собачий брёх. И снова тишина, только под берегом волны облизывались.

На маяке что-то скрипнуло – коротко, жалобно. Приглушенный голос раздался... и другой. Приподнимая ружьё, позабыв, что оно холостое, Горилампий крадучись приблизился к раскрытой двери маяка. Луна светила сзади – длинная тень старика осторожно заползла в дверной квадрат. «Пакостники, – думал он. – Хозяйничают! Голову снесу!»

Под ногами хрустнула щепочка от сломанной двери. Горилампий сморщился, как будто не на щепку наступил на гвоздь. Ещё два шага сделал. Притаился возле косяка.

– Кто zde... – начал громко, грозно.

Тупой удар в затылок заставил замолчать. Старик распрямился от боли. В глазах потемнело. Он посмотрел незрячими глазами куда-то в угол. Выронил ружьё, обмяк, но не упал.

О, старый хрен, тяжёлый, – заговорили над ним.

К воде тащить – надсадися.

Зачем к воде? Здесь положи.

Нет, в бухту надо скинуть.

Положи, сказал!

Не дело это, Чернолис... Прочухается он, опять маяк запалит.

– Не запалит. Я раскурочил так, что не бесполезно.

Серьгагуля Чернолис почему-то пожалел зрителя.

Даже сам себе немного удивился – почему? В эту бухту он впервые приплыл на спасительный свет – свет Горилампущи. И потом приплывал много раз. Кроме того, было время, когда Чернолис находил под крышею смотрителя добрый ужин и сладкий ночлег.

А ружьишко-то – пугало. Без заряда ружьё, – сказал товарищ, двумя руками легко сгибая ствол в железную дугу. – Так ему лучше будет стрелять... из-за угла. Ну, всё? Пойдём, что ль?

Нет, чаевничать будем, Сова!.. Ну, шагай, чего глазами хлопаешь?! – Серьгагулю разозлила собственная жалость. Мало того, что жалко Горилампущу, – ружьё старика стало жалко. А это уж совсем – гнилая слизь какая-то в душе.

Серьгагуля пнул ружьё. Пошли от маяка, спустились к берегу. Вода сияла, аж глаза слезились. Поправляя чёрную лису на голове, Серьгагуля заворчал:

– Луна, зараза, вылупилась, чёрт знает откуда! Шли сюда – глаз коли, а теперь, точно днём. Да, Сова? Что, молчишь? Я почему старика приберёт? У меня кой-какая мыслишка возпрела под шапкой.

Говорил он уверенно, твёрдо, только никакой мыслишки не было. Чернолис выкручивался. Неудобно как-то перед товарищем. Да и противенько перед собой, особенно теперь, когда маяк остался далеко за спиной. И чего пожалел старика? Вот уж никогда бы не подумал, что есть в душе подобная бодяга – жалость.

3

Три дня штормило – море наизнанку вывернулось. Тина сверху плавала, рваные медузы, донные песчинки долго не могли осесть... Корабли во время шторма теряли курс, теряли паруса, моряков теряли: пушечный удар волны вышибал человека за борт, словно щепку.

И вот – синий шёлковый штиль растянулся по необозримому пространству. Облака, раздерганные ветром, лениво проплывают над крышами Фартовой Слободки. Утро умывается на дальнем берегу, белопенным полотенцем щеки розовые трёт.

Сонно, тихо ещё. Даже собакам брехать не хочется на пролетающую чайку, на баклана – морского ворона, туго побитого рыбой, выкинутой на прибрежные отмели.

Каменная башня маяка. Сутулая избушка Горилампуща. Сто лет уже присматривает он за маяком. Аккуратный старик, бережливый. Лишнюю каплю керосину зря не спалит. А сегодня что-то...

Старуха Смотрилиха заволновалась.

Захворал ты, что ль? – спросила она. – Хватит жечь карасин. Подымайся, туши.

Тушат капусту с картошкой, – заворчал Горилампуща, потирая ушибленную голову; старухе он ничего не сказал о ночном происшествии, не хотел беспокоить. – Туши, туши... Сколь говорить?

А как тебе надо?

Гасить! Уже сто лет тебе твержу!

Ну, иди, гаси.

– Пусть погорит ишо. Как-никак сам царь просил помаячить кораблю заморскому.

– Помаячь... А на ём-то припрётся палач, на корабеле том.

– А тебе откуда знать?

Вся слобода об том шумит.

Ну, так оно или не так, наше дело телячье: промышал и в закут, – Горилампий вздохнул, поднимаясь и опять потирая затылок: – Башка болит чегой-то. Как будто камнем по затылку вдарили.

Курил бы ты поменьше, Горилампуща, вот и полегчало бы, может.

Подохну – полегчает, – бухнул старик, закуривая.

Оно, конечно... Фу, закоптил! – Смотрилиха двумя руками стала отбиваться от синевато-зеленых облаков. Закашлялась. Пошла на улицу, ругая старика за дурной самосад: – Это что ж такое? Это же не самосад. Самоад какой-то. Сам себя в ад загонят.

Смотрилиха взяла корыто, грязное бельё.

Туман парусиной прилип за избушкой на краю обрывистого мола. Зелёная слизь подсыхает на валунах-волноломах, подраздетых ночным разбойником – отливом.

Забыв, зачем пришла сюда, поставив корыто на камни, Смотрилиха стоит, блаженно улыбается, наблюдая, как вода просветляется с каждой минутой: песок, поднятый бурей, высеивается на дно; последняя волна теряет силу вдалеке – шатается, седыми лохмами трясёт и жалобно постанывает, обнимая громадные волноломы, целуя покатые лбы и поглаживая тёмно-зелёные волосы водорослей.

На горизонте – на самой кромке моря – обозначился корабль. Размером с муху, если не меньше.

Горилампич! – крикнула старуха, оборачиваясь.

Вижу! – отмахнулся он в раскрытое окошко. – Стирай свои порточки зас... и не лезь не в своё дело!

Ты што? Взбесился? – Никогда она его таким не видела. И матерков не слышала. – Порточки-то, глянь-ка, твои. Может, сам постираш?

Смотритель нахмурился.

– Тебе бы так елдыкнули камнем по калгану, посмотрел бы я, как ты взбесисся, – проворчал он, складывая раздвижную «позорную» трубу (стыдно было, позорно за своё сквернословие).

Огонь маяка уж давно был не нужен – день разгорался. Но Горилампущка настырно палил керосин: что-то хотел доказать и себе, и тем оглоедам, которые по «калгану» ударили. «Думают, всё, мол, напужался дедушка, век не станет зажигать маяк. А вот хрен вам да ещё маленько. Теперь весь день палить буду нарочно!»

Он дождался, когда плечистая фигура корабля подрастёт на горизонте. И только после этого маяк зажмурил свой бессонный глаз.

– Не серчай, – повинился он, подходя к старухе. – Башку-то мне и правда камнем проломили ночью...

Смотрилиха всполошилась:

– Кто? Где?

– Вертопрахи какие-то... Вот, погляди...

– О, Господи! А что же ты молчал?

– Да не хотел расстраивать.

– Дак, может, надо какой компресс?

– Ничего не надо. Не егози. Всё уже утряслось.

Потом они сидели на прохладном берегу. Старик пересказывал ночное приключение. Смотрилиха слушала и замерзала – от ужаса. И прижималась к тёплому надёжному плечу Горилампущки.

Послышались колокола в Нагорной Церкви, скраденной высокими деревьями – только золотая луковка в зелени горит.

Примолкли бакланы и чайки, пушистым снегом ссыпались на берег за маяком. Рассветный туман, отрываясь от бухты, главную гору подрезал – подножье на земле оставил, а вершину «подсадил» на небеса, где последняя звёздочка теплится: мелкими жемчужинами отблески дробятся и тонут в голубоватых глубинах... Обломок корабельной реи в белую щепку искусан береговыми камнями, пожёван мокрогубым ртом рычащего прибоя. Отлив оставил рею у чёрной скалы, сверху исполосованной птичьим пометом.

Ох ты, горе моё гореламповое, – вздохнула Смотрилиха, разглядывая побитый затылок мужа. – Кто был-то? Што им надо?

Корабель вот этот им, видать, не по нутру, – догадался Горилампущка, снова раздвигая подзорную трубу.

Дак и мне не по нутру, когда на ём палач.

Смотритель с нарочитой суровостью поглядел на Смотрилиху.

Может, ты меня и стукнула? Сознайся.

Господь с тобой, что ты несёшь, горе моё гореламповое!

Старик засмеялся. Поморщился от боли в затылке.

Стал смотреть в подзорную трубу. Хорошо – далеко было видно.

Ветер соскоблил туманы с прибрежных круч, с воды. Очистилась горловина Фартовой Бухты, обрамлённая двумя утесами. Далёкое солнце малиновым парусом косо поднимается у горизонта; розоватый дым клубится по воде, подкрашивая пену, чайчье перо, упавшее на воду; розовой смолой как будто просмолились борта баркасов, плывущие с утренним уловом; стоящие на рейде бригантины и фрегаты в эти минуты показались изготовленными из красного дерева.

Тяжёлый грозный галион замаячил на фоне солнца – по розовым цветам грузно пошёл в горловину Фартовой Бухты. Неуклюже развернулся, чёрным бортом забирая свет и осторожно работая приспущенными парусами, хлопочущими на ветру.

Глава пятнадцатая. Под кривою крышей кабака

1

Фартовая Слободка – место тихое, приворотное для кораблей.

Горы столпились кругом сонной бухты, ветер ловят в каменный мешок. Погодка тут всегда великолепная. С начала весны – совсем красота. Солнце воду прогревает, протыкает золотыми иглами до самого донца. Июньскими деньками – кипиток почти. Былинки да цветинки можно видеть даже на самых суровых валунах.

В общем, Фартовая Бухта – отличный отдых для фартовой братии, вволю побродившей по морям-океанам.

Поклонники грозы, любители отчаянного риска, больших дорог и приключений, в конце концов, становятся ярыми любителями тихого домашнего уюта, почитателями спокойного самовара, на голову которого они обувают сапог, исходивший Землю вдоль и поперек.

История скромно умалчивает о здешних «первопроходимцах» – флибустьерах, авантюристах, искателях золотого руна и золотого яблока, дающего вечную молодость.

Дурахамцы, заморыши и захребетники – они предпочитали менять фамилии, сочинять себе сказочную родословную, заматаив и замывая нечистые, кровавые следы, ведущие из прошлого.

Первое «строение» здесь было оригинальное.

Во время прилива море на своих больших руках подняло старенький фрегат и посадило на прибрежную скалу: получился отличный замок в труднодоступной расселине. В бортах фрегата прорубили двери, окна. Крылечко постелили под порог. На перилах накудрявили причудливой резьбы. Какой-то лживописец разрисовал и расписал широкую доску. Пригвоздили на мачту фрегата – издалека завлекало:

«ЗАВЕДЕНЬИЦЕ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ».

Хозяинничать взялся первопроходец по прозвищу Кабан (Кабанчик, а потом Кабатчик стали звать).

Первые годы в этом странном заведении кухарничала и прислуживала странная особа: полудевка-полурыба, точно соскочившая с бушприта, торчащего над скалой. Никто не знал, откуда и когда она прибилась к Фартовой Бухте.

Рыбину эту ночами жарили, аж дым стоял... Жарили все, кто изголодался по женским прелестям. И появились от красивой рыбины красивые мальки с холодными бесцветными глазами, с холодной равнодушной кровью.

Однажды мама-рыба уплыла в лепрозорий – подхватила проказу. Уплыла и не вернулась.

Пришла зима; растаяла. Весна зацвела; лето красное перегорело в слякотную осень...

Среди матерщины, табака и поножовщины рыбы детишки – «рыбьетишки» – рано возмужали и принялись за дело с неожиданной смекалкой и сноровкой... Ресторация преобразилась, стала почище, покультурней: в портянки сморкались только самые пьяные.

Кто-то семена привез или случайно из-за моря ветром закинуло – баобаб на берегу поднялся неподалеку от ресторации. С годами он вымахал – в необъятную бабу. Хмельные завсегдатаи любили в жаркий день отдохнуть под широким тенистым крылом, обнимали дерево и даже целоваться лезли, приговаривая:

– Тут нету баб, зато есть баобаб! Большая баобабища!

Ты смотри, не сломай об нее свой дорогой струмент! – смеялся Кабатчик Дурнил (пока трезвый – Данил, а напьется – Дурнил).

Кабатчик – несмотря на то, что всегда был Дурнил – сумел поставить дело в ресторации на широкую ногу.

Подавали греческие вина из далёкого Константинополя. Бургунское, больше известное как «романен». Канарские вина были в ходу. Аравийская водка, вызывавшая особую симпатию не только своим вкусом, но прямо-таки ангельским названием – «жизненная вода».

Фрегат, приспособленный под ресторацию, моряки спалили по пьяной лавочке; кому-то показалось вдруг – пираты нападают. Ну и давай отстреливаться, отражать атаку. Всех «пиратов» перебили, а корабль «пиратский» пеплом по ветру пустили, так что даже поутру опохмелиться оказалось негде и нечем.

Однако, нету худа без добра. На берегу построили каменный каба́к, с ледником, с подвалами, где стояли полубеременные и беременные бочки – по пятнадцать и по тридцать ведёр соответственно.

Хозяйственный Кабатчик вскоре помер с перепою около одной такой беременной бочки. Бразды правления принял Савва Дурнилыч – сын.

Каба́к с той поры пошатнулся, но по-прежнему оставался в центре внимания всей бухты.

От пристани в каба́к дороженька прямая – чтобы никто не промахнулся, не собирал плечами углы соседних домов и приморских утесов, когда возвращается на бровях.

Береговой каба́к стоит на крутояре, который неспроста зовётся Пьяным Яром. Сколько моряков переломал здесь руки-ноги! Сколько пьяных голов под обрыв укатилось навек! Сколько просили хозяина «спуститься с небес» – внизу каба́к поставить. Нет! Внизу воняет рыбы ми гнилыми потрохами, грязи много и вообще – горизонта не видно. Скучно внизу. То ли дело на Пьяном Яру, где ветер, как пьяный, ярится, поёт и шумит в дыроватом заборе, свистит на крыше.

Перед заведеньцем широкое дощатое крыльцо с высокими перилами, оберегающими хмельного человека от смертоубийства. Кроме того – рыбацьи сети растянуты по краю Пьяного Яра. Молодец хозяин, побеспокоился. В эти снасти уже попало столько пьяной рыбы – не пересчитать. В основном белуга попадает – те, что спяну белугой режут. Время от времени «белуга» режет сети, вырываясь на волю; у каждого пьянчуги за голенищем ножик. Хозяин матерится, починяя снасти: «Для них же стараюсь, и они же кромсают!»

2

Заскрипела дверь на сорванной петле. На крылечко вышел хозяин каба́ка – широкоплечий двухметровый Савва, за крупные глазищи получивший прозвище Совы. В руках у него крупноячеистая большая сеть. Он только что ее заштопал, теперь нужно будет растягивать внизу – под Пьяным Яром.

Серьгагуля Чернолис, справив малую нужду, показался на дворе. Портки поддернул.

– Прошу! – пригласил хозяин, показав на полный кубок, стоящий на столике возле двери.

Серьгагуля был сосредоточен. Глядел на Фартовую Бухту, залитую солнцем.

– Топор плывет! – заметил он, поправляя черную лису на голове и не по-доброму прищуривая глаз; морщины рассекли щеку наискосок.

Кабатчик поглядел во глубину двора, где стояла чурка стопором. В недоумении хмыкнул, думая, что Серьгагуля шутит.

Мой топор на месте. А чей же там плывет?

Тебе все хиханьки, а человеку могут башку срубить!

Ты про кого? Кто срубит? Кто плывет?

Топор Обезглавыч.

А-а! – наконец-то понял Савва. – Встретим, встретим, не волнуйся. И не таких ещё брали на абордаж.

Не дури, нужно тихо, – предупредил Чернолис и постучал указательным пальцем по своему виску. – У меня кой-какая мыслишка взопрела под шапкой...

Кабатчик спрятал кулаки за спину. Засопел, как жеребец, остановленный на полном скаку.

– Мыслишка, говоришь? За это надо выпить.

Серьгагуля не спешил. В руке плескался переполненный кубок, оправленный серебром и дорогими камнями. В правом ухе играла серьга, украшенная рубинами и жемчужиной. Под навесом черной лисьей шапки затаились, мерцая, хитроумные лисьи глаза, наблюдающие за кораблем.

Надо заманить его сюда.

Кого?

Топорюгу этого.

А как заманишь?

Обскажу сейчас... Глотну винца и обскажу. – Серьгагуля потянулся губами к литровому кубку. Но муха села на серебряный край, пробежала по кругу и ошалела – свалилась в темный винный омут, забрюзжала, плавая на спине и стараясь перевернуться; влажная пыль фонтанчиками полетела над краем кружки.

Тьфу, зараза, и когда только успела?!

Говорил же пей, так нет, – Савва расстроился; вино было отменное; он только друзей угощал таким зельем. – Подожди, не надо, Чернолис, не выливай!

Не мелочись, скоро будем богатые, – Серьгагуля опрокинул кубок под крыльцо. Медовуха зашипела, разливаясь по чертополоху, крапиве.

В глубине кабака позвякивали ложки, стаканы и чашки. Прислушиваясь к разговору мужчин, кабатчица крикнула:

– Чужое добро, лей, не жалко!

Серьгагуля презрительно сплюнул с крыльца, наблюдая за розовыми разводами, остающимися от медовухи на поваленных стеблях, на камне. Повернулся к женщине, весело ответил:

– Я – фартовый парень. Не хватало мне мухой закусывать! Подайте сюда удила – хочу закусить! – сказал, подражая Кабатчику.

А мне дак кажется, вы и дерьмом закусите.

Было дело, – согласился Чернолис. – Но пора из грязи в князи выбиваться.

Кабатчик голос подал – степенный, важный, как будто он уже из грязи в князи выбился:

– Гафгафья, ты не рассусоливай, а принеси вина.

Ложки с поварешками «ответили» раздробленным грохотом – хозяйка нарочно стала пересыпать их из одной посуды в другую. Потом железные котлы «ответили» пушечным гулом... Гафгафья старалась... Была она баба ещё молодая, сочная – святогрустных кровей, но как-то так случилось, что судьба свела её с отпетым дуροхамцем. Последние годы погнули её, покорежили. Лицо спеклось в морщинистый комок. Седые патлы по плечам болтаются, в похлебку падают (ничего, сожрут пьянчуги проклятые). Звали когда-то Агафьей. Была большая мастерица петь. А нынче голос рычащий, лающий. Иногда посмотрит баба на себя в кривое кабацкое зеркало и подумает: «Гафгафья! А кто же ещё?»

Хозяин засмущался перед гостем. Побагровел щеками.

Баба чёртова, – шепнул и тут же крикнул: – Гафгафья, сучка! В третий раз зову! Дай вина человеку! А то я пойду дам... не покажется мало! И закуску тащи. Где удила, чтоб закусывать?

Вы будете с порога лить, а я на цырлах бегай, ухаживай за вами.

Муха там была. Тащи, сказал.

Сами под мухой с утра. Льют, как воду колодезную.

Ну, хватит гафгафкать. Тащи!

Я притащу – захлебнетесь. Надо, сам иди, а я вон в тесте по уши.

Кабатчик багровеет ещё сильнее. Глазами хлопает, стараясь не глядеть на Чернолиса. Крупным кулаком хрустит, да так хрустит, словно кобель под крыльцом старую кость разгрызает.

Гафгафья слышит знакомый хруст. Хорохорится: ещё, кривит губу ухмылкой, но душа дрожит, дрожит и спина от страха подмерзает.

Споласкивая руки, она выжидает ещё с полминуты, наливает нехотя и ставит новый кубок на крыльцо.

подавитесь! – рычит, уходя и поправляя платок на плечах.

А где «пожалуйста»? Я как тебя учил?

подавитесь, пожалуйста, – покорно отвечает Агафья, кланяется чуточку и пропадает в кабацком сумраке.

Ну не сучка ли? – Обескураженный Савва разводит руками. – Вчера воспитывал, два фонаря поставил, чтобы светлее было в кабаке. Культдуря чтобы, значит, была на высоте. А у этой дуры никакой культдуры. Позорит на каждом шагу. Перед людьми совестно... Ладно, давай закусим удила.

Сергагуля не слушал. Выпитая медовуха кинулась в голову. Лицо приятно запылало. Он закурил, гоняя желваки; ребристые мускулы белыми косячками поплыли под розовой кожей.

У него действительно кое-какая мыслишка «взопрела под шапкой», только побаивался, как бы Агафья не испортила обедню.

Красавица! – крикнул. – Иди сюда.

Што обзывать-то? – заворчала женщина потеплевшим голосом.

Иди, я подарок тебе приволок.

Подарок? Я уж и забыла, с чем его едят.

Втайне Сергагуля был равнодушен к ней. Повернулся. Жаром обдало и сердце дрогнуло... В тёмном квадрате кабацких дверей – крепкотелая баба. Такую ночами ласкать, обнимать – сил не хватит.

Агафья приблизилась. Кровоподтечная слива под глазом. Большая, будто свинцом налитая – перекосячила лицо и заставляет голову клониться к плечу. Но даже и так – с синяком, с морщинами – видно, что была она красавица в ту далекую пору, о которой и думать забыла: отбили память мужнины костоломные кулаки.

Чернолис был чем-то неприятен ей. Фартовый нагловатый этот парень вызывал в душе ее угрюмую симпатию. Да, да, он неприятен был ей тем, что нравился. Нежное робкое чувство не горело в ней, а тлело, как моховина возле костра, облитого дождем. Агафья думала, огонь в душе затоптан сапогами кабатчика, а на поверку вышло – нет, горит. И почему-то пугалась она своего сердечного огня. Чернолис улавливал это звериным чутьём и полушутя-полусерьёзно раздувал этот огонёк при удобном случае. Так было и на этот раз.

Чёрный длинный взгляд его, как змеюка, в душу затекал. Может, и хотела бы она сопротивляться – не могла. Стояла, понурилась. Смущенно прикрывала синяк ситцевым скромным платком. Рука подрагивала. Выпуклые ногти, обломанные в работе, точно обкусанные, зарывались в платок: натянутая материя выдавала крупную, взволнованно вздымавшуюся грудь.

Ох и сатана же ты, Серга... загогулина! – простонала, принимая подарок. Зрачки зажглись восторгом, изумлением. – Перстень? Мне?

Бери, бери.

Не-е... Да это же впору боярыне. На моем копыте только и носить такую ляльку.

Носи на здоровье. Боярыней будешь! – Сергагуля подмигнул ей, губы к руке потянул – поцеловать.

Агафья сконфузилась, руку отдернула, будто Чернолис не целовать хотел – кусать. Кровь прилила к лицу. Подбитый глаз набух ещё сильнее. Зарделась баба; теперь всё лицо у неё стало похожим на один большой синяк.

Боярыня. Скажешь тоже, загогуля чёртов. Украл, поди? Перстень-то?

Господь с тобой, когда я воровал?!

И в самом деле. Что это я? Наговариваю.

Они повстречались глазами, и хохот потряс тишину, Пугая ворону за кабаком – таскала объедки из ямы, отороченной высокими полынями. Ограда возле кабака веером согнута, а кое-где упала, рассыпав гнилые доски. Ворона взлетела, подсекая крыльями полынь. Села на тёмную плаху, стала клюв от грязи отскребать.

Далеко вороне до соловья, – задумчиво отметила кабатчица, глядя в сторону помойной ямы.

Ничего подобного! – уверенно заявил Чернолис.

Хозяин по делам пошёл куда-то, и Сergyгуля, почувствовал пакостливую радость, коротко и жарко подмывающую сердце.

Придвинулся к женщине. Перстень помог насадить на заскорузлый палец в грязных трещинах. Причём когда насаживал, делал такие нарочитые движения, как будто забавлялся с детородным мужицким органом. Агафья поняла эти постыдные движения, хотела отдернуть палец... и не отдергивала, только стала покусывать губы, шумно и прерывисто дыша. И Сergyгуля задышал – как на бегу. Запах женского пота, кухонного дымка и ароматы винного подвала задурили голову ему... Хотелось притянуть к себе, облапить, зубами схватить за тить... Расцеловать... Распластать сарафан... Утащить на руках в темноту кабацкого угла...

Ты что, сдурел?! Он же сейчас придёт!

Успеем!

Нет! Я заору сейчас!

Ори!

В глазах кабатчицы дрожали слёзы. Она сопротивлялась, беспомощно болтая ногами в воздухе. Сergyгуля схватил ее, точно бревно, и потащил в горизонтальном положении.

Протащил мимо стола.

Агафья успела ухватить железную штуковину для шинковки капусты.

Сergyгуля повалил её на пол и, ослеплённый страстью, наклонился – растянуть хотел портки свои. Шапка слетела с головы. И тут Агафья треснула железкой. Пошинковала капустный качан. Так «пошинковала» – сама не рада. Лучше бы сдалась; потом уже подумала.

Чернолис качнулся, охнул. Глаза дурными сделались, наружу поползли. Лицо позеленело – зеленой капусты,

Он рухнул – коленками чуть пол не проломил.

– Сова, Сова, – забормотал. – Ты старика не трожь, старик мне как отец родной, ударил по башке и хватит, не надо в воду сбрасывать меня, Сова, Сова, не надо, ребятишки, не гасите маяк, жить хочу...

Агафья поднесла ему под нос какую-то вонючую склянку. Чернолис вдохнул разок-другой. Прочухался. Но не совсем. Бессмысленно, тупо ворчая глазами, поглядел по сторонам. Вяло встряхнул головою. Посидел на полу. А когда прочухался – стыдно стало, противно. С бабой справиться не мог. Фартовый парень.

Превозмогая боль, он междленно поднялся. Постоял, схватившись за край стола, чтоб не упасть от головокружения. Агафья подала ему чернолисю шапку. Он молча принял – вырвал из её руки.

– Ладно, – яростно шепнул, прикрывая ёрною лисой разбитую голову. – У меня тут кое-какая мыслишка взопрела! Сегодня я себе устрою праздник под кривою крышей кабака! И ты мне обязательно поможешь...

3

Сегодня ночью он придёт к ней, к этой желанной стерве. Хватит играть в кошки-мышки... Для начала он жестоко и расчётливо зальёт в Кабатчика два ведёрка – два «Кубка большого горла» – с порошком, отшибающим разум. Большие Саввины глаза станут ещё больше, напоминая глаза быка, которому ударили обухом по лбу. Кабатчик сползет под стол, предварительно подстелив под себя широкую «скатерку» из блевотины. Чернолис перешагнёт через него. Хладнокровно и неторопливо перешагнёт, зажимая в руке железную хреновину для шинкования капусты.

Вот он поднимается вверх... И волнение в нём поднимается. Так поднимается, что брюки – дыбом. А там, наверху, куда он идёт, – полумрак, только лунные белые полосы протягивают щупальца в круглое окошко за спиной. Под ногою скрипнула ступенька. Он замер. Быстро поворачивает голову. Ему кажется – это Кабатчик от хмельного прочухался и на карачках побежал за Чернолисом. Но нет. Савва спит внизу, похрапывая. Тихо в кабаке, даже слышно, как вдали под Пьяным Яром шумит волна, выбрасываясь на береговые камни. И пьяный какой-то моряк дурахамскую песню завёл:

Дрожит на мачте рея,
И нету терпежу!
Морским узлом тебе я
Все титьки завяжу!

Облизнув пересохшие губы, Серьгагуля послушал разбойные куплеты, беззвучно и коротко рассмеялся, поворачиваясь к малому оконцу в лунных бельмах. Ему вдруг стало легко, свободно. Перепрыгивая через одну и две ступеньки, он спустился к дубовой стойке, выпил «Кубок большого горла», снял верхнюю одежду и опять отправился по лестнице.

– Открой! – тихо приказал, припадая щекою к шершавой прохладной двери. – Открой! Хуже будет!

За дверью молчание, только пряные запахи в какую-то щель просочились, доводя Серьгагулю до кобелиного бешенства. Попробовал плечом нажать на дверь – даже не скрипнула. «Крепость, а не кабак!» Он разогнался... Что-то хрустнуло в плече – Серьгагуля крутнулся волчком и отлетел к перилам, ограждающим верхнюю площадку. Облизывая губы, он поднялся, посмотрел через перила и презрительно сплюнул на морду Кабатчика, бледным пятном проступающую внизу. Поврежденное плечо горело, добавляя злости. Он разогнался – на этот раз уже другим плечом ударил... Потом ещё... Дубовые двери слетели – и крючки, и петли с мясом вырвались, жалко перезвякнули, проскакав по полу.

В комнате свеча горела. Рухнувшие двери подняли в комнате воздушную волну. Золотисто-голубое пламя на фитиле затрепетало, из вертикального пламени превращаясь в горизонтальное и с трудом удерживаясь на черной сальной нитке.

Кабатчица лежала в нижней рубашке – белой, свежестираной рубахе – лежала поверх одеяла, чуть раздвинув полные ноги, слабо, но аппетитно розовеющие под тонкой рубашкой. Ресницы её дрогнули, когда упала дверь. Щеки побледнели. А под грудью – слева – отчетливо стали видны сильные сердечные удары. Она смотрела на него – решительного, злого и от того ещё более красивого, желанного. Так прошла минута... Он ждал сопротивления... Он был не готов к такому радушному приему. Растерялся. Оглянулся, думая, что за спиной у него находится какая-то Агафьиная поддержка – потому она и спокойна. За спиной было пусто. Выбитый дверной проём чернел.

Серьгагуля снова глянул на Кабатчицу. Улыбка тронула ее лицо. Бледность прошла. Приподнимая задницу и перебирая ногами, она пододвинулась к бревенчатой стенке и простонала разомлевшим горлом:

– А-а... Я так и знала!

Серьгагуля зашвырнул под кровать железную хреновину для шинкования капусты. Руки задрожали, когда он прикоснулся к Агафьину телу. Молча порвал рубашку до пупа и ниже – до самой шерсти... Большие дородные груди наружу вырвались... Голодными глазами обжигаясь о жаркие бабьи тела, он покачнулся и рванул свою рубаху. И захрипел, задыхаясь:

Щас я тебя, суку, пошинкую!

Пошинкуй, хороший мой. Не ленись.

Он запутался в тряпках, зарывал в нетерпении. Она засмеялась, увидев его голышом, но в чёрной лисьей шапке, глубоко насаженной на глаза.

Жених, шапчочку-то скинь.

Я туда не головой полезу!

Агафья засмеялась и шумно выдохнула, – свеча погасла. В чёрном проёме выбитой двери засеребрились лунные щупальца, вползающие в комнату.

Продолжая похохатывать, поглядывая на дверь, Агафья сотрясалась нервной дрожью и обмирала от желанной воровской любви.

Так будет сегодня ночью.

4

Вернулся Кабатчик, посмотрел, догадался – чёрная кошка пробежала между ними; только никак не мог понять, что это за «кошка».

Серьгагуля сидел на крыльце кабака – страшно бледный, вспотевший от боли. Поправляя шапку, скрипел зубами и не смотрел на Кабатчика: сапоги свои внимательно разглядывал; смолу от факела увидел на сапоге, скovyрнул; рубаху на груди прожгло факельной искрой – он поцарапал дырочку, покусал большой ноготь, чёрный от смолья. Сердито сплюнул.

Вы што здесь не поделили? – спросил Кабатчик.

Мы? – притворно удивился Чернолис. – Всё нормально. Мы это...

Мы тут капусту шинковали, – подсказала Агафья, ровными красивыми зубами защемляя губу, чтобы не засмеяться.

Капусту? – не поверил кабатчик.

Ага, я по хозяйству помогал ей. – Серьгагуля покраснел. Поднялся и резко поменял интонацию. – Ты вот что, баба... Зубы спрячь и слухай. Скоро сюда приедет человек. И чего бы ты ни видела, чего бы ни услышала – молчи, не разевай хлебальник. А Сова... То исть, муж твой, Савва... как тебя? Дурнилыч? В общем, будем мы сегодня в боярских платьях. И ты не удивляйся, подавай на стол.

А мне-то што? Вы хоть царями нарядитесь. Только морды-то у вас все одно разбойные – не спрячешь.

Ты на свою посмотри, – посоветовал Чернолис.

А Кабатчик пригрозил ей:

Только попробуй вякни! Я тебя возьму на абордаж, собаку! Посажу на якорную цепь за кабаком, будешь там гафгафкать. Боярыня, твою-то маковку...

Да провалитесь вы пропадом! – Она хотела сдёрнуть перстень – зашвырнуть в бездонный омут чёрных бессовестных глаз Чернолиса, который ожил и опять поганно заухмылялся.

Кожа на пальце под перстнем успела разбухнуть – засосала золотой ободок. Агафья сгоряча дёрнула палец до крови. Облизнула, причмокивая, и отвернулась, ушла, болезненно

потряхивая рукой, точно подбитым крылом: на плече трепыхался платок цвета серых застиранных перьев.

Кабатчик подумал, что Серьгагуля шутит насчёт «бояр». Беззвучно рассмеявшись, двухметровый Савва Дурнилыч наклонился над Чернолисом, подмигнул огромным глазом, чуть замутненным обильной утренней выпивкой. Влажный рот его навис над ухом Серьгагули, будто хотел зубами серьгу сдёрнуть с мочки.

– А здорово ты сказанул про бояр. Только я не понял, ты к чему это?

Чернолис поднял лежащий на крыльце парусиновый сверток (он пришёл с этим свертком).

Айда, Сова.

Куда?

Переодеваться надо. Или сначала пошли в подвал, покажешь, чем дорогого гостя будем потчевать. Он ведь заморский гаденыш – капризный.

Ничего, Бедняжка Доедала мне кое-что передал от царского стола.

Молодчина парень, – похвалил Серьгагуля. – От себя отрывает, бедняжка. Не доедает, не досыпает.

Хозяин взял стоячий фонарь для прислуги, запалил на пороге подвала. Ключи из-за пазухи выудил. Замок заскрежетал железной челюстью. Загремели запоры, заставляя смолкнуть и разлететься воробьев, раздухарившихся на крыше соседнего амбара.

Стали спускаться. Огромное разинутое горло подвала дохнуло сыроватой сытостью, овощами и пряностями – доверху набито... Сушеные травы зашуршали над головами (Серьгагуля испуганно пригнулся, придерживая шапку, морщась). На стене висела сушеная визига – спинные хрящи осетра. На полу – литровые бутылки, одна из них накрыта перевернутым шкаликом. Провансальское масло мерцает в посудинах. Оливковое масло. И «деревянное» масло – к светильникам. Пыльная цепь лежала, свёрнутая собачьим клубком; зазвенела – огрызнулась, когда Серьгагуля наступил на нее.

Кабатчик посветил под ноги. Подумал о тюремных кандалах. О палаче, которого все ждут.

– Как там наш атаманец лихой? На крючья не вздернули? Кровь не пустили?

Царь моет ноги атаманцу нашему.

Ну? – Кабатчик вновь подумал, что Серьгагуля шутит. Хохотнул, говоря: – Подержи-ка фонарь, посвети вот сюда. Здесь у меня настойка мухомора.

Толстая литровая бутылка на просвет полыхнула багряным заревом, забулькала, гоняя воздух от горлышка до днища и обратно: хозяин переворачивал бутылку.

Серьгагуля презрительно скуксился, покачал головой. Серьга заиграла рубиновым светом: кровавые «веснушки» зарделись на виске, на щеке.

Твоя настойка хороша для инородцев, любят, – сказал он. – Когда Сибирь придет в гости, Тьму-Таракань да Тьму-Комарань – попотчуеть дрянью этой.

А думаешь, Топор не будет пить? И удилами нашими закусывать побрезгует?

И думать нечего. Это ты железо жрать умеешь...

Зальём! – заверил Кабатчик. – Хоть полведра зальём. И не таких ещё брали на абордаж.

Сова, не хлопай крыльями. Нужно тихо, говорю, а ты всё норовишь на абордаж...

Хозяин растерялся, помолчал.

– А что мы подадим? Другой отравы нету.

А кто тебе сказал, что нам нужна отравка? Аравийской водочки, Канарского винца давай. Где у тебя «романен»? Надеюсь, не выжрал?

Обижаешь. Моя организма только водку может перерабатывать. А этот «романен»... С него один понос, я уже пробовал с похмелья, целый день сидел в кустах... со щасливую

улыбкой на устах... Вон он, «романен» твой. Бедняжка Доедала будто чуял, что пригодится. Три бочки прислал.

Где же три, когда две.

Утопили одну по дороге. Речка-то дикая.

Знаю. Сам едва не утоп. Значит, сделаем так. Сонной одури сюда подсыпем.

Это какой такой одури?

Беладонна. Слышал?

Ты – лисья голова, тебе и карты в руки... Ох!..

Ты чего?

Двухметровый кабатчик наступил на арбуз. Под ногой захрустело. Он поскользнулся, и дубовая балка вверху загудела, как потревоженный колокол.

– Ой, романен твою манен! Опять башкой чуть балку не свернул! Скоко хожу, привыкнуть не могу! Хоть на карачках ползай тут...

Совиные глаза от боли выплеснулись на переносицу.

Сверху песок посыпался, едва не погасил фонарь. Фитилёк затрещал; к потолку побежали искринки. Пыль под сапогами за клубилась, накрывая кроваво мерцающую мякоть раздавленного арбуза.

Серьгагуля в сторонке стоял, похохатывал: чернолился шапка на голове подпрыгивала, сползая к затылку; богатая серьга впотьмах подрагивала серебристой свечечкой.

Это Горилампыч нам привет передаёт.

А причём тут Горилампыч?

Мы его ночью по башке... Забыл? А теперь он возвращает нам долги, – ответил Серьгагуля и поморщился. Ну, давай, боярин, будем одеваться. Время не ждёт.

Через несколько минут Агафья, когда их увидела, обомлела и выронила чашку, разбила вдребезги. Да и как тут было не обомлеть, когда – в кои-то веки! – на грязное кабацкое крылечко, скрипя ступенями, поднимались два нарядных, два степенных боярина. Красавчики, можно сказать. Платья на них дорогие, с золотыми застёжками. Жалко только, что рожи – суконные.

Глава шестнадцатая. Заморские гости

1

Лазоревый шёлковый штиль разрисован отражением бурых опрокинутых скал. Береговою прозеленью подкрашен, светло-звёздчатой россыпью чаек и жёлто-красными блестками зари: длинной строчкой заря прострочила от горизонта, налитого прорвой солёной влаги, до малой капелюшечки, задремавшей на камнях у причала. Жалко, ах жалко чудную эту картину!.. Вот так бы стоял на крутом берегу и смотрел бы, смотрел, да только где там...

Как будто скребком по холсту – по свежим лоснящимся краскам – проскрёбся неуклюжий громадный галион. Разодранная холстина за кормой лоскутами захлопотала. Размазанные краски перемешались, прилипая к бортам чужеземца.

Ослепительными иглами и солнечными нитками замелькал на воде потревоженный свет, «зашивая» косой и длинный разрыв, обезобразивший идиллическое полотно под названием «Утречко среди Фартовой Бухты».

Чайка загалдела, поднимаясь и прижимая к животу два розовых цветка – мокрые лапы, роняющие солоноватые росы.

Послышались команды на гортанном языке:

Брасос кранбер!

Анго!

Кронкур!

Моряки на реях замелькали, убирая паруса. Капитан рискованный попался. Громадный галион похож был на деревянный айсберг с тремя высоченными мачтами, с полубабой-полурывбой, мастерски вырезанной на бушприте и на корме. Заряженный страшною силой – неукротимой инерцией – галион, приближаясь к причальной стене, мог мимоходом её покорежить и примять, как слон приминает траву... Галион мог пойти по сухому, далеко мог пойти, если вовремя не остановишь.

У кого-то нервы сдали на берегу. Раздался душераздирающий крик:

– Отдавай!

Капитан засмеялся, хорошо владея здешним языком:

Ни за что не отдам!

Отдавай, заморыш ё... Куда ты прёшь?!

Якорный канат слетел со стопора. Многопудовый разлапистый якорь шумно обвалился – брызги над причальной стеной взлетели зеленоватым крупным виноградом.

Мальчишки-ротозейники ловко ловили мокрый «виноград», глотали, причмокивая, хвалились:

А у меня-то ягодка повкусней была!

Зато моя крупнее!

Ничего подобного – с одного куста.

Грубый голос грянул сбоку:

– Эй, мелюзга фартовая! Поберегись!

С высокого борта канат полетел – над головами зашипела «змея пеньковая», раскручивая смоляные кольца. Петля захлестнула дубовую толстую кнехту, почерневшую от времени, от непогод. Канат ложился узловатыми «восьмерками», натужно скрипел между кнехтами – помаленьку потравливался, не в силах удержать гарцующую громадину. Вода плескалась между бортом и причальной стенкой, на дыбы вставала и похрапывала.

Ребятня глазела на швартовку, отступала под напором взрослых, гомонила там и тут:

Какой корабель, ух ты!

А знаешь, как зовут его?

Знаю. Голиаф.

Не голиаф, а галион, понятно? Тятенька сказал мне.

А какая разница?!

Большая. Голиаф – человек, великан такой был.

А это разве не великан? Вон скоко пушек на бортах натыкано.

Это скоко же ему надо пороху с собой таскать?

А чугунных ядер?

Целу гору!

– Не-е, с ядрами потонет он, как заштормит.

– А што ему? Три дня болтался в окияне и хоть бы хны. Все паруса, все веревки на месте.

А зачем он к нам приплыл?

Плавает г... Мне тятенька сказал.

Отвали ты с тятенькой своим.

– Ясно дело, торговать причапал. Скупцы пожаловали.

– А тятенька сказал, на ём палач приплыл. Заморыш.

– Не-е, дуροхамец.

– Будто своих нельзя поставить с топором на площади.

– Своих нельзя, мне тятенька сказал.

– Почему это?

– Свои слишком добрые. А дуροхамцы эти... хоть петуху, хоть человеку срубят голову, не охнут.

И я срубил бы!

Ну, конечно, потому как папа у тебя из Дуροхамского Дуролевства. Хоть ты и скрываешь, но я-то знаю.

А по сопатке хочешь?

Мимо проходил моряк, вмешался.

– А ну-ка, прекращай! А то с причала прогоню. Свалитесь в воду, драчуны, потом отвечай за вас.

Чёрный силуэт галиона нагромоздился на солнце.

Вода, зажата между бортом и причальной стеной, поскулила и замолкла, разбегаясь к носу и корме... Густая тень упала на причал, неся прохладу. Терпко, таинственно и чудно запахло просоленными просторами и ароматными лепестками загадочной «розы ветров», которую по многу раз на дню с удовольствием нюхает каждый моряк и любой путешественник, только никто ещё не видел, где она растёт и как цветёт.

Ребятишки и подростки продолжали гомонить:

Говорят, заморыши петуха заморского нам привезли.

Говорят, что он поёт куда как лучше Будимира-Будисвета!

Не заморский петух, а морской. Он петь не умеет.

Как это так – не умеет? Всякий петух поёт.

Да это не петух, а рыба. Триглотит... Или как её звать-величать?

Рыба тригла, – подсказал моряк, стоящий рядом и весело шурящийся на бестолковый разговор мелюзги.

Вы, дяденька, скажите им, скажите, разве эта тригла может кукарекать?

Обязательно, – серьёзно сморозил моряк. – Когда морского петуха кладут на раскаленную сковородку, он кукарекает громче любого сухопутного.

– Неправда ваша, дяденька.

Моряк засмеялся, ушёл.

2

На широкой палубе галиона дымил таганок. Запахло напитками из пережаренных корней и желудей. Доносило порохом от бортовин, поцарапанных железным абордажным когтем, порубленных секирами – глубокие шрамы видны там и сям. Чугунная бомбарда стоит на нижней палубе – каменные ядра в пирамиду сложены.

Заскрипели вязовые плахи: сходни гнулись деревянными пружинами, выталкивали на причал.

Заморыши там и тут появились. Дурохамцы табачными трубками закуривали воздух. Тарабарщина горохом затрещала по святогрустным ушам:

Конгур бари...

Дебир куна кварнер...

Цветные шаровары замелькали. Тюбетейка. Чалма. Кольцо в носу (строптивым бугаям такие кольца вставляют в селах и деревнях святогрустной стороны). Посеребрённые пистолы, ручки кинжалов сверкают за поясом. Кривые сабли волочатся по земле. Кусками рафинада белеют ослепительные сладкие улыбки. Косоглазый чёрный уголь под ресницами горит в прищуре, дымом заволакивая чужеземный взор: попробуй, пойми, разбери, что затаилось в этих глазах. Народ всё больше мускулистый, загорелый до бронзы. Подойди, постучи по груди – зазвенит, окаянная... И где только солнце такое печёт?

– Эх, Васятка, уехать бы с ними! Там, говорят, не бывает зимы никогда! – вздохнул какой-то горемыка.

Бородатый «Васятка» резонно ответил:

От добра добра не ищут. Бога не надо гневить. Живём неплохо. Винцо, да хлеб, да крыша над головою. Чего тебе надо ещё?

Надоела мне Святая Грусть! Грешного Веселья сердцу хочется!

Дурохамец тут как тут. Подошёл, воркует:

Ломами барзас кваркуш...

Васятка, что он говорит?

Поезжай, говорит, если хочешь. Двух моряков во время шторма смыло за борт, так что им люди нужны.

Мастеровой человек Богдан Богатырь – с младшим сыном Колянней – оказался в этот день в Фартовой Бухте.

Коляня с интересом наблюдал, как местные мальчишки суеились на причале, шило на мыло меняли у захребетников и дурохамцев. И взрослые дядьки – контрабандисты – не теряли времени: из-под полы друг другу совали что-то, напряженно поглядывая по сторонам.

На бортах галиона протопилась между плахами смола, затвердела чёрными сосульками. А на ближайшей мачте – на месте срубленного сучка – пузырьками надулся янтарь, перекипев, под южным солнцежаром.

Смотрел мальчишка на корабль и чувствовал, какая, должно быть, огромная Матушка-Земля, какая заманчивая. В этой бухте недавно ледяной припай отодрался от берега, только только снежная короста с гор сошла, в логах ещё стоят подснежники, синяя от холода и приплясывая на тоненьких ножках... А где-то уже солнце пробирает землю на пол-аршина – яйца можно печь в песке, а на камнях глазунью можно жарить, говорят, как на раскалённых сковородках.

Завидует мальчишка заморскому житью-бытью и, поддавшись мимолетному влечению, мечтает бросить милый святогрустный берег.

Богатырь подошёл и погладил сынка по светлорусой голове. И точно угадал, какие мысли в ней.

– Коляня, там хорошо, где нас нету, – вздохнул он, пристально глядя в туманную даль. – За морем телушка полушка, да рупь перевоз.

Глава семнадцатая. Топор обезглавыч

1

Дрожащее чёрное облачко витало над головой палача, – расплывалось под лучами яркого солнца; кто-то заметил, а кто-то нет... Зато почти что все в одно мгновение почувствовали дурной дух, исходящий от заморыша. Особенно те, кто поближе. Особенно – мухи. Не долетая до палача, муха замертво падали...

– Идёт! – закричал мальчишка с дерева, растущего на берегу.

Разноцветная толпа шарахнулась и загудела пчелиным роем.

Идёт! Эй, расступись!

Дохлятиной что-то завоняло!

А где же красная рубаха? Где топор?

Тебе так прямо сразу всё и подавай: и топор, и голову отрубленную.

Богдан Богатырь, возвышающийся над толпою, не удержался от замечания:

– Ну-у, сморчок! А я-то думал...

– Тише, а то он тебя сделает на голову короче!

– Пускай попробует. Кишка тонка.

Толпа расступилась, ненадолго затихнув.

Показался палач. Горбоносый, плешивенький. Совсем даже не страшный.

За палачом семенили три косолапых пигмея, похожие на постаревших детей.

Как, ты говоришь, зовут его?

Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы.

Топор Обезглавыч? Так, что ли, по-нашему?

А что? Тоже красиво.

– А кто это с ним?

– Видать, с детишками приехал.

Палач – небогатого росту, незавидной осанки. Плоский широкий затылок серо-бурым бревном распирает грубую дорожную рубаху. Правое плечо косит вперед и вниз; видно, топор оттянул – профессиональная издержка. Лицо палача рыжеватое, словно кровью забрызганное. В глазах – вселенский холод, равнодушие. Белки с кровяными каплями: то ли от морской болезни, то ли от бессонницы, то ли от водки. Сапоги сияют тупыми лакированными рылами, шаровары чёрную искру пересыпают на солнце. Будничное рубище с коротким рукавом – видны сухие костлявые руки, напоминающие продолжение топора. В зубах зажата трубка в виде человеческого черепа. Чёрный гниловонький дым над малиновой макушкой черепа – точно волосья дыбом.

Шагает важно, медленно. Ледышки глаз поверх голов скользят.

Ишь ты, как себя несёт!

Как на продажу!... Сурьёзный дяденька.

Такому палец в рот не клади.

Да и в задницу тоже.

Мужики засмеялись. Невесело вышло, натужно.

А зачем он пожаловал? Царь как будто раздумал казнить.

А ты разве не знаешь, кум? Царь палача позвал карандаши чинить.

А может, язычок тебе окоротить?

На какое-то время в толпе стало тихо. И надо же такому приключиться: над головами, перелистывая воздух, пролетел брюхатый баклан – морской ворон; хвостом задёргал, опорожняясь...

Топтар Обездаглаевич содрогнулся, голову в плечи втянул и так наморщился, будто кислым кулаком получил по морде.

Кто был поближе и увидел – захохотали, заглушая волны и стаю чаек, стонущих вдали.

Не поднимая головы, палач погнал зрачки под брови и скуксился ещё сильнее. Руку сунул в карман – за платком.

Оглашенный Устя оказался неподалеку. Поинтересовался в недоумении:

Сынки, а что вы ржете жеребцами?

Баклан, баклан, дедуля... Ха-ха-ха...

А что – баклан?

Кучу добра набакланил на башку дуροхамца. С высоты, как говорится, птичьего помёта!

Устя Оглашенный зауродствовал:

– Ай, как нехорошо встречаем гостя! Обос...

Толпа единой глоткой выдохнула хохот; на ближайшей мачте галиона опущенный парус ударил крылом, и забрежали собаки во дворах, уступами уходящих в гору.

2

И тут раздался выстрел, покрывающий всеобщее веселье.

Люди затихли и замерли, широко раззявив хохотальники.

Баклан споткнулся на меткой пуле и, теряя светлое перо, тяжело спикировал на береговой песок. Запахло дымным порохом; ветер смял синеватое облачко и протащил над причалом.

Кто это срезал его? – зашептались.

Боярин какой-тоь.

Ловко, чертяка!

Навскидку стрелял, я заметил.

Боярин в богатом платье, в черной лисьей шапке подошёл к палачу. Бросил птицу под ноги. Слегка поклонился и что-то сказал на дуροхамском наречии:

– Конда мезитол никиш.

Морской ворон трепыхнулся. Песчинка прилипла к открытому глазу. Из-под крыла на камень выкатилась тёплая рубиновая бусинка. Перепончатая лапа судорожно «бегала» по воздуху; потом обмякла, опускаясь на перо, взъерошенное ветром.

Палачу смотреть на смерть – всё равно, что мёд хлебать.

Топтар Обездаглаевич вцепился глазами в подыхающего баклана. Ледяные зрачки потеплели и даже слезою слегка отсырели.

Жизнь отлетела от птицы. Глаза палача улыбнулись. Он протер плешину бархатным платком – солнце на макушке заблестело.

Презрительно бросив утирку, Топтар Обездаглаевич дальше двинулся, поскрипывая лакированными сапогами. Раскочегаривая трубку, сплюнул, зачмокал серыми губами. На руке его, держащей трубку, странные пальцы – квадратные, будто поспешно и грубо вытесанные топором.

Боярин сбоку шёл. Терпеливо и подобострастно царскую грамоту держал перед собой.

И наконец-то палач соизволил повернуться к нему. Взял грамоту, прочёл, присмотрелся к печати и даже понюхал её. Сунул грамоту себе за пазуху и покачал головою: хорошо, мол, согласен.

Что за боярин шапку перед ним ломает?

Царский прихвостень.

Кто поближе был, засомневался, а кто-то узнавал:

Э, мужики, да если он боярин, то я князь, мордой в грязь. Это же фатовый парень – Серьгагулька.

Брось болтать, у него царская грамота с печаткой.

Боярин постарался – дорогими коврами устелил дорогу палача. Топтар Обездаглаевич доволен был: суровая рожа отмякла.

Слободские бабёнки с завистью смотрели, как палач попирает сапогами узорчатый мягонький путь: по таким коврам не только в сапогах – босиком-то жалко было бы топтаться бережливым бабёнкам.

Фу, какой вонький табачишше, – зароптала одна из них, прикрывая нос платком. Стоящая рядом молодка наклонилась к ней, глаза по ложке сделала и зашептала:

Кости человеческие в ступе натолкеть, натолкеть, насушит, с табаком перемешает...

У бабы от страха глаза – в пол-лица.

– Ой? – перекрестилась. – Бреешь?

Горилампущка протолкнулся в первые ряды. Ладонью отломив от глаз утренние лучи, разглядывал гостя. Сухо сплюнул, отходя.

– Одно слово – заморыш. Сам чуть больше топора.

Права была бабка Смотрилиха. Только зря карасин перевел на маяке. Знал бы, дак не светил...

Три косолапеньких пигмея, похожие на постаревших детей, вызывали в народе жалость. Седые волосы пигмеев никак не подходили к мальчишескому росту. Уродливо-миниатюрные лица, помятые морщинами, казались шутовскими масками.

– А это что за огрызки?

Оруженосцы. Видишь, бандуру несут.

Это не бандура, а скорей бандурак. Ишь, какой дорогуший футляр.

– У него серебряный струмент, я слышал. Один раз наточит – на сто лет хватает головы крушить.

А девки-то, девки-то наши, гляди, вот лахудры. Бегут к нему с цветочками!

Заморский гость. Какой ни есть, а надо встретить, как жениха.

– Ага, выйди замуж за такого, будешь суп варить из топора да из человеческого мяса.

По дороге, ведущей к причалу, закопытила тройка. Пыль поднялась.

– Карета едет!

Ох ты, царский кучер – Фалалейка.

Значит, будут казнить?

А ты думал, помилуют? Нет, брат, напакостил, наразбойничал – ступай на плаху, палач тебя погладит по башке топором.

Значит, сказка это – про доброго царя?

Ты не путай, где добрый, где добренький. Правильно делает царь, чтоб другим неповадно. Пожалей одного да второго... на шею сядут, станут погонять.

Что-то здесь нечисто, мужики. Боярин этот... Серьгагуля Чернолис. А в темнице – его дружок, атаманец.

Атаманцу этому царь, говорят, ноги моет.

Сам чёрт не разберет их! Айда, мужики, дело делать. Солнце вон уже где, а мы всё толчемся у берега.

Царская карета, сработанная специально для праздничного выезда, поразила палача: обтянутая бархатом; на крыше сияет пятиглавие из чистого золота; кучер Фалалейка «бархатный» и почти вся упряжь на конях – бархат, серебро и драгоценные увесистые камни.

Топтар Обездаглаевич остановился пред каретой. Сапоги старательно стал вытирать о цветистый ковер.

Садясь в карету, палач ослепительно сверкнул плечиной. Издалека показалось, будто на плечах топор огнём горит.

Глава восемнадцатая. Колокола никогда не картавят

1

Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы на далёкую святогрустную землю отплыл с потаённым заданием. «Секир башка царю!» – вот какой у него был приказ.

Кроме того, в каюте палача стояла железная клетка с крылатым «чёртом»; в клетке терпеливо томился здоровенный чёрный ворон – Черноворец. Был он не простою птицей. Сам чёрт, наверное, ходил в родителях этого хищного злобного Черноворца.

Когда в море-океане шторм закончился, Топтар Обездаглаевич клетку распахнул, и Черноворец полетел в сторону Царь-Города. В голубоватых рассветных сумерках бесшумно опустился на золотую крестовину колокольни; воровато избоченил голову, прислушиваясь.

Уже скрипела лестница внутри, внизу – старый звонарь поднимался, бормоча молитву. Смолистое перо на вороне вдруг стало высветляться под действием молитвенного слова. Так, чего доброго, глядишь, и в белую ворону превратишься. Торопиться надо, подумал Черноворец, появляясь в проеме звонницы.

Колоколов здесь много. Большие, гулкие, таящие в крепких телах отголоски недавней грозы, – ворон услышал это, когда уселся на округлое колокольное темя: живая дрожь металла предавалась когтям... Дрожали дождевые серебристые капельки, перебегая одна к другой. Как будто с испугу дрожали. Чёрный глаз варначины вспыхнул огоньком злорадства.

Опуская голову, прицелился к червоточинке, образовавшейся ещё во время плавки.

Ударил клювом и отскочил, изумленный; колокол вместо привычного «бом, бом!» вдруг стал выговаривать:

– Бог! Бог! Бог!

Черноворец собрался с духом и снова оседлал центральный колокол. После третьего удара крепким клювом раздался характерный сухой щелчок – трещина скользнула в глубину металла.

Ступени стонали поблизости. Седая шевелюра звонаря выплывала облачком из открытого квадратного проема колокольни.

Расправляя крылья, Черноворец упал на ветер – скрылся. Черную грудь распирала чёрная радость. Черворец крикнул в тихий сумрак. Эхо помножило картавое карканье, будто сатана захохотал...

Старый звонарь – дед Колокольник – содрогнулся. Недоброе что-то почуял.

До мелочей знакомая, родная колокольная пахла отсырелым камнем, мокрыми тесовыми стропилами, из которых торчала сухая трава – птичьи гнезда. Слюдяной фонарь в углу – остался вчера после вечернего звона. В другом углу, на деревянном гвоздочке, мохнатая шапка – надевает, чтобы не оглохнуть от громоподобной музыки.

Все как будто на месте. Звонарь успокоился.

Синеватый пар клубился над колоколами, словно только что их из плавильни подняли – за ушко да на солнышко.

Светлой бахромою на веревках выросли дождевые гроздьи. Сверху откуда-то капля за каплей колотится в колокола, напоминая приглушенное сердцебиение...

Живут, живут, родимые! Дышат полной грудью, синеватый пар – свидетель могучего колокольного дыха.

Звонарь заулыбался, тёмную дыру в зубах погладил языком. Припомнил далекую молодость, когда происходило священнодействие и всенародный праздник – рождение колоколов. Желая причаститься к доброму делу, всякий святогрустный человек старался бросить в кипя-

щую лаву свой скромный дар: кто серебряные серьги, кто золотое колечко, кто ожерелье, кто браслет; чем богаты, тем и рады были поделиться... Когда отлили колокола – звонарь стал видеть временами такие чудеса, о которых лучше никому не рассказывать: засмеют и посчитают сумасшедшим.

Но потом и другие, слава богу, заметили, стали рассказывать ему, смущаясь и пожимая плечами – что это, дескать, за диво дивное.

Во время золотого и серебряного благовеста по горам и долам святогрустного царства перекатывались драгоценные колечки, браслетики. Более того. У скромных и целомудренных святогрустных девчат в пору колокольных перезвонов появлялись на ушах сережки изумительной красоты. А в монастырях, в нагорных кельях Свято грустной Пустыни загорались золотые колечки огня над свечами и лампадами.

Дурахамцы, захребетники и заморыши люто ненавидели этот христианский чистый перезвон: все черти падали с полатей, с печей – рога сворачивая, копытья ломали. Болотной грязью, тиной, мхом пробовали уши затыкать, но где там – слышно. Переговоры налаживали с Царём Государьевичем. Выкупить хотели колокола, да не по карману оказалось. Цена им – горы золота.

Вот и решили попробовать Черноворца чёртова послать. Клюв у него был не простой, не костяной – крепче кремня, прочнее железа.

2

Дед Колокольник перекрестился на красный угол горизонта, где уже стояло солнце в золотом окладе. И перекрестился-поклонился на все четыре части света. Мохнатую шапку надел, ощущая, как она забирает тепло с головы – охолонула за ночь.

Многопудовый язык раскачался и вымолвил первое звонкое слово, а за ним второе, третье:

– Бог! Бог! Бог! – бросался в поднебесье басовитый голос.

А дальше – совсем чудеса. Подголоски начинали выбивать-выговаривать молитву «О живых».

Спа-си, спа-си, спаси, Господи, раб твоих! – говорили одни подголоски, а вторые и третьи подхватывали: – И всех, и всех православных христиан!..

И даруй им, даруй здоровье душевное! Здоровье телесное!

Бог! Бог! Бог!

Хоть всю Землю обойдите вдоль и поперёк – нигде такого благовеста не услышите.

Тишина разбудилась, голуби вышли в зенит, восторженно и громко заплескали крыльями в лазоревой глубине. Городские стрижи стриганули над крышами. Деревенские ласточки ластились к потухающим звёздам и проплывающим облакам... Умываясь радужной пылью, оставшейся в воздухе от раноутренней радуги, Божьи птицы смеялись в полете, пересыпая воздух живым серебрецом, словно бы тоже задорно звонили, благовестили под куполом страны Святая Грусть.

3

Звонница в небо уходит – теряется в головокружительной вышине.

У подножья, как всегда по утрам, столпился христианский люд. Бабы в праздничных нарядах. Дети в чистых рубашонках. Старики. Молодежь.

Устя Оглашенный стоял, прикрыв глаза. И почему-то кривил губу. Иконописное лицо юродивого стало мрачнеть.

– Царь-колокол нынче с надрывом поёт, с картавинкой.

Старушка рядом возмутилась:

– Ты наболтаешь! Где это видано, где это слыхано, чтобы святогрустный колокол картавил?

Ларион (гренадёр отдыхал после службы) прищурил синие глаза на колокольную, согласился:

Служить, так не картавить, а картавить, так не служить!

Колокола никогда не картавят! – заметил юродивый. – А в энтото как будто картавый бес вселился!

Бродячий музыкант с хорошим «длинным» ухом сказал, сомневаясь:

Кажется, не врет...

Кто? Колокол?

Нет, Устя Оглашенный.

Правду, правду говорит он! – вздохнула баба, подходя к соседке. – Видишь, какое колечко от первого удара откатилось?

Погнутое?

В том-то и дело. Не к добру это!

А во дворце, говорят, поросята ходят по потолку. Следы кругом. Поймать не могут.

И петуха порешили!

Кого?

Ну, Будимирку-то нашего.

Ой, да што ты?

Нечистый завелся!

Вот и колокол наш закартавил!

Тихо! Сорочье племя! – грозно крикнул Устя Оглашенный, не открывая глаз, а только поднимая к небу длинный старческий перст, похожий на свечу с темными фитилями-жилами. Покачиваясь в такт колоколам, юродивый ногою прихлопывал. Росистая муравушка под лаптем в зелёное мочало изжевалась. Муравей поднимался по серой драной штанине.

Ну? Дак чего там? – не выдержала баба. – Попал пальцем в небо? Скорей говори, не томи.

Порча на ем! – подытожил юродивый, открывая ресницы, дрожащие от напряжения. – Эй, кто скорый на ногу? Дуй на колокольную, упреди...

Ларион побежал, рассекая толпу крепким острым плечом.

Теперь уже многие слышали: воздух по-над ухом звенел с надсадным дребезгом, царапал уши, души; с каждым ударом царь-колокол говорил все глуше, глуше, будто опускался в глубину преисподней.

Гренадёр замешкался на колокольне – ногу подвернул.

Однако дед Колокольник и сам расслышал порченную музыку. Шапку скинул. Охнул... В проёме звонницы мелькнула седая голова.

– Православные! – предупредил звонарь. – Берегись!

Кто-то внизу (кто не понял ещё) откликнулся в недоумении:

Ты что блажишь? Чай не горим?

Колокол треснул! Беда!

Народ пошатнулся единым испуганным телом. Затрещали кусты на пригорке. Поломалась тонкая берёза, роняя косичку, заплетённую молоденькими листьями. Кто-то со страху явил необычайную прыть – словно горный козёл заскочил на белозубую кремлевскую стену.

Ребятишек не стопчите, ироды!

Не давите! Стенка сзади... по стенке размажете, ох твою, прости, Господи! Баба, ну чего ты лезешь на меня, на молодого, неженатого?

Убери свои лапищи, дурень старый, тоже времечко нашёл...

Стоны и звоны перемешались в воздухе над колокольной. Народ бестолково кружился, образуя воронку.

Чёрный ворон пролетел над головами – Черноворец. В лапах у него было зажато золотое гнутое кольцо. Ворон кружился над колокольной, истошно, радостно картавил.

Колокол бился в предсмертной судороге. Трещина прорезала голосовые связки, но колокол ещё сопротивлялся, гудел перехваченным горлом, ускоряя свою гибель.

Многопудовый язык, расходившийся от края до края, последний раз дотронулся до колокольной губы – разбил до крови, сверкнувшей медно-алыми каплями. Хриплый бас захлебнулся, противенько взвизгнул. Внутренняя трещина молниеносно вырвалась наружу – располовинила «царя» колоколов. Серебристо-сахарный кусок металла заблестел, обнажаясь. С колокольной по ветру просеялась тускло мерцающая пыль.

Сердцевина отвалилась от материнского тела.

Деревянные перила затрещали в проёме звонницы – ошетинились длинными занозами.

«Ухо» оторвалось...

Колокол – ухнул...

4

Люди – едва-едва успели расступиться.

Земля у подножья колокольной содрогнулась, точно и взорванная. Вороньей стаей в небо полетели рваные куски, трава, обломки берёзы... И вдруг из этой «стаи» выпорхнул настоящий ворон... Восторженно хлопая крыльями, Черноворец раскаркался-расхотался, низко кружась над поверженными обломками.

Добросовестной работой разгоряченный колокол – уже убитый, но ещё не остывший – шипел на сыроватой «силе, словно силился что-то шептать. Сизый пар отлегал от колокольного «царя», как душа отлетает.

Крестообразная фигура Черноворца вдруг заслонила солнце над колокольной – страшно огромная крестообразная тень упала на головы святогрустных людей.

Гренадёр Ларион, подвернувший ногу на колокольной, прихрамывая, шёл к разбитому «царю». Выхватил пистоль и выстрелил не целясь.

Пуля попала в золотое кольцо, зажато в лапах Черноворца. Ворон вскрикнул, уходя в зенит...

Кольцо упало.

Пожилая баба, вздыхая, подняла его. Повертела в руке и сказала:

Похоже на мое колечко. Бросала в плавильню, когда ещё в девках была.

Бери на память, – разрешил ей дед Колокольник.

Чужое? Нет, не хочу.

Устя Оглашенный взял кольцо. Насупился.

– Это моей дочуры, – глухо выдохнул, пряча.

Много лет назад у жизнерадостного башковитого святогрустного мужика Устина Оглашина случилось большое горе: и дочь погибла, и жена; с той самой поры он и сделался юродствующим странником.

– Спасибо, Лариоша, – благодарил он, обнимая гренадёра. – У меня ведь все тогда сгорело. Ни крошечки на память не осталось. А теперича – кольцо. Гайтан к нему приделаю, носить буду под сердцем.

Глава девятнадцатая. Что всё это значит?

1

Звёздная пылинка в глаз попала – слёзки на колёсках побежали...

Звездочёт Звездомирович остановился, протирая глаз.

Синеватое облако зацепилось за лестницу-поднебесницу. Соколинский постоял на облаке, приятно покачиваясь. Дальше стал подниматься.

Родная земля перед ним распласталась – ненаглядная и такая любимая, аж сердце щемит беспокойством, тревогой за эту прекрасную землю; столько нечисти ходит по ней, столько дурохамцев, столько захребетников...

Колокол внизу расколоколился – громко, радостно.

Звездочёт улыбнулся ему... И вдруг услышал тихий стон, скрежет и падение большого колокольного «царя».

Звёздная пыль на ступеньке сырая после ночного дождя. Соколинский поскользнулся – чуть не рухнул с такой высоты, где даже орлам перехватывает дыхание в зобах.

Ветер мимо летел по делам. Поймал Звездочёта за воротник, свистнул возле уха: будь, мол, осторожен, братец; голубым огромным оком подмигнул ему и дальше поспешил – паруса надувать на морях-океанах, запрягаться в хомуты крылатых мельниц, отары облаков пасти на высокогорных пастбищах и перевалах. Да мало ли! Ветер вечно в работе, только успевай мотаться на все четыре части света!

Звездочёт слинял с лица. Испугало не то, что он мог бы разбиться, – костей не нашли бы на грешной земле.

Широко раскрытые глаза, обращенные к небу, заledenели ужасом... «Звезда Алголь! – ударило в мозг. – Алголь? О Боже, где она? Как я раньше не заметил?»

Созвездие Персея – на привычном месте. Но загадочная и страшная звезда Алголь – звезда дьявола! – запропастилась куда-то. Блеск ее постоянно меняется. Примерно двое с половиной суток Алголь полыхает очень ярко, затем помаленьку зажмуривается, напоминая зверя, готовящегося к прыжку, прицеливающегося кровожадным оком к своей жертве. Игра в такие жмурки давно перестала волновать старика Соколинского: никуда эта «зверюга» не спрыгнёт с неба, никого не покусает, как боялся он в молодости.

Звезда Алголь сегодня должна была снова с полной силой вызвездиться. И вот, пожалуйста... Куда она пропала, чертовка?

В душе у Соколинского жила ещё надежда, слабая надежда на туман, после дождя роившийся в поднебесье и, может быть, укравший звезду Алголь.

Торопливо поднимаясь вверх – за полосу туманов, он услышал странное, самодовольное похрюкивание. Повернулся, пригляделся... И так ему сделалось дурно – чуть не упал с лестницы-поднебесницы. Что это? Видение в небе?

Сердце гулко ударилось в рёбра, сдавилось ужасом и не смогло разжаться. В глазах потемнело. Виски холодным потом окропило...

Соколинский нашёл в себе силу и волю... Подтолкнул помертвевшее сердце – кровь опалила виски, грудь обожгла... Он перекрестился, протёр глаза... Но страшное видение продолжало маячить в небе.

Поросячье копыто пропечаталось на небосводе, как будто грязный широкий месяц.

«Бред! Не может быть! Как раз на этом месте должна гореть звезда Алголь. Что всё это значит? О Господи, прости... Значит, сатана спустился к нам на землю? Бред...»

2

Охран Охранович схватил Соколинского за воротник – сдёрнул с последней ступеньки лестницы-поднебесницы. «Тигровый глаз» отчаянно горел, так горел, что, кажется, палёными ресницами запахло, присмолённой бровью.

Звездочёт возмутился:

В чём дело? Что за наглость?!

Где наш Будимир?!

В курятнике. Жемчужное зернышко потащил в свой гарем. А что случи...

За мной! – Охран Охранович круто повернулся, хрустя подковками. Шагал широко – не угнаться. Соколинскому было видно гневом побелённую щеку, чёрный ус, трепещущий вороным крылом.

Свежая кровь курилась на полу неподалеку от лестницы-поднебесницы.

Полюбуйся! Чья это работа?

Боже мой... кошмар!

Ты не крестись, не охай. Все равно придётся отвечать перед царём. Он души не чаял в этом петухе, а ты... подлец!

Соколинский был так взволнован случившимся – пропустил мимо уха это страшное оскорбление. Стоял, растерянно смотрел на старинную икону Пресвятой Богородицы «Благодатное небо».

– Как же так? – пробормотал. – Где же оно, благодатное?

Он перевел глаза на розовую лужицу, ещё горячую, слегка дымившуюся – жизнь пролилась недавно. Рядом лежало перо, изогнутое белым полумесяцем, чуть порозовевшим от кровавого пламени. Неуловимое дуновение ветра гоняло пушинки – перебирая паучьими ножками, они пробегали по крови, но оставались сухими.

Кабалистический кровавый знак был нарисован вокруг «Благодатного неба». И такими же знаками расписаны лазоревые камни, служившие опорой для поднебесницы. Посередине замысловатого знака – отрубленная голова Будимира с жемчужным зерном, намертво зажатым костяными ножницами клюва. Кровь на горле загустела арбузной мякотью; чёрным семечком виднелась перерубленная жила. Под красным лоскутом роскошной бороды, откинутой набок, янтарной пуговкой поблескивала бородавка, незаметная при жизни. Глаз глядел в небеса – не мигал.

Кружащиеся пушинки запутались в дебрях усов охранника. Отдуваясь, он прокричал:

– Ну-ф-ф?... Что-ф-ф... скаже-ф-те?

Я потрясен! А где же тело?

«Тигровый глаз» наполнился ехидством.

А вы-ф-ф... не знете?

Понятия не имею.

Съели тело. Скушали. И не подавились.

Кто?

Охра помолчал, буря от злости.

Перестань дурацкие вопросы задавать! – заорал, хватая правую усину и выдирая оттуда пушинки. – Ник-го-ф... никто не знает, где петух! Ты, может, скажешь? Куда подевал?

Побойся Бога!

Сам побойся! Почему рука в крови?

Где? Ты что, сдурел?

А ну-ка, покажи ладонь!

А-а... Это? Это петух проклянул.

Ой ли? – не поверил Охра. – Уж не тогда ли он проклюнул, когда ты башку ему взялся руби...

Нет! – перебил Звездочёт. – Когда жемчужину с ладони давеча давал ему. И вчера была рука в крови. Вот, гляди, сколько шрамов. Каждый день почти клевал.

– И ты ему за это решил башку снести?

Соколинский помолчал. Вздохнул.

– Слушай, Охра, ты, когда молчишь... похож на умного.

Рассвирепевший «тигровый глаз» охранника наскочил на соколиные зрачки. Завязалась борьба, молчаливая, мрачная. Как в детстве когда-то в гляделки играли...

Охран Охранович краснел от напряжения и внутреннего жара – благородный гнев пылал в груди. Усы на щеках заплясали. Кончики пальцев тискали рукоятку пистоли, торчащей из-за пояса.

Соколинский был спокоен – привык; наблюдая за небесами, не смаргивал, бывало, и час, и два. Правда, звездная пылинка, не вымытая слезами, продолжала беспокоить. Правый глаз чуть зудел. Хотелось почесать, моргнуть, но раз такое дело – дело принципа – можно и потерпеть. До вечера. До завтрашнего.

Он усмехнулся.

Не лопнешь, Охра? Молчит. Сопит.

А то, гляжу, надулся ты, как бычачий пузырь.

Охран Охранович хотел что-то сказать, но губы свело напряжением воли. Потужился ещё, попыжился, жутковато выкругляя «тигровый глаз». В уголке слеза набрякла. Задрожала на ресницах, готовая брякнуться...

Часы на башне прозвонили «четвертинку». Очень кстати прозвонили – выручили.

– Некогда мне тут... – с наигранной бравадой сказал начальник. – Надо к царю на доклад. Что за напасти в последнее время? То печать пропала, то петух теперь!

– Нашли? Печать-то?

Охра пожал плечами.

– А ты что, сомневался? Да-а, петух, петух... Кто же мог это сделать? Кто петушатину любит?

– Бедняжка Доедала.

Начальник отвернулся, тайно вытирая «плачущего тигра» – слезы прошибли от игры в гляделки.

Давай, – заворчал он. – Все валят на Бедняжку Доедалу. И ты...

Ничего я не собираюсь валить. Ты спросил, кто любит петушатину, я ответил. Доедала любит, аж трясется.

Начальник панибратски похлопал по животу Соколинского, перехваченному кушаком с серебристыми блестками:

И ты покушать не дурак!

Так-то да... А так-то нет.

Это как же понять?

Не люблю петушатину. Царь, между прочим, знает об этом. – Соколинский наклонился над петухом. Красный бархат помятого гребня расправил. Предсмертным ужасом распыленное око смотрело далеко-далеко – сквозь небо, сквозь вечность.

Как ты мог подумать, Охра? Я столько лет учил его утренним распевам. Горло всякими настоями лудил, укреплял. Зёрнами жемчужными кормил, чтобы голос катился жемчужиной по святогрудным просторам. А ты меня в убийцы записал. Не стыдно ли?

Стыдно, – вдруг выдавил начальник. – Я человек ууровый, но справедливый. Всех подряд приходится подозревать. Служба. А как ты хотел?

Куры внизу клекотали, почуяв неладное. Две или три – самые сильные и отчаянные – перелетели заграждение курятника. Бегали по сырому булыжнику. С тревогой наблюдали рождение новой кровавой зари.

Крутым желтком из облаков-белков вывалилось медленное солнце.

– Кто это сделал, говоришь? – задумчиво переспросил Звездочёт Звездомирович. – Нечистая сила боится петушиного крику, вот она и сделала. Больше некому.

3

Царская карета несколько минут назад влетела в распахнутые ворота Кремля. Из кареты поспешно выгрузили кого-то – в лазарет унесли.

Седой врачеватель мелкими шажками пробежал по двору. Фалалей уехал. Суета затихла.

И вот теперь внизу опять запели-заскрипели двери. На каменное крыльцо лазарета вышел утомлённый эскулап. Соколиные зрачки Звездочёта разглядели банку с пиявками в руке врачевателя. Извиваясь, ползая по стеклу, пиявки ползали как будто между пальцами, к фалангам «присасывались» (он даже увидел треугольную челюсть пиявки).

Соколинский брезгливо поморщился, подумал вслух:

Палач! К нам приехал палач!

Где? – охранник быстро оглянулся. – Где он?

Во дворце.

Не может быть! Кто посмел идти против царёва указа? Палача отправили на порубку строевого леса для кораблей!

Так-то да... А так-то нет.

Что ты мне мозги морочишь? – занервничал Охра.

Заболел наш дуροхамец по дороге. Вот и пришлось карету во дворец пригнать.

А ты откуда знаешь? – «Тигровый глаз» опять загорелся тайным подозрением.

Мне сверху видно, – Соколинский пальцем потыкал в небо.

Усы охранника на секунду безвольно обвисли от растерянности, затем подскочили волосяными пружинами, сильно вибрируя.

То-то я смотрю на петушиную башку... Очень ровненько перья обрублены. Без топора не обошлось тут, нет, не обошлось! Пойдем, Звездомирыч, проведем хворого. Ты не серчай на меня. Я человек суровый, но справедливый. А-а? Не серчаешь?

Так-то да... А так-то нет.

Глава двадцатая. Боярское угощение

1

«Бархатный» Фалалей с большим недоумением встретил царскую грамоту, сверкающую золотыми печатями и вензелями – словно почуял фальшивку. Однако подчинился – делать нечего; свистнул, гикнул и погнал карету на вершину Пьяного Яра. Возле кабака остановился, недовольный. Руку сунул в карман – пригоршню отборного овса отправил в рот и чуть не поперхнулся, увидев на крыльце «боярина».

Кабатчик появился на крыльце с дубовыми перилами. Физиономия Кабатчика, припухшая с похмелья, показалась кучеру подозрительно знакомой, но красное боярское платье сбивало с толку: Савва Дурнилыч был неузнаваем; и говорил он совершенно неузнаваемым голосом; так лебезил, так лакействовал, что даже самому противно было.

Проходите, Топор... Ну, то бишь, Топтар... – Кабатчик смутился. – Ну, короче, хлеб-соль вам!

Спасыба.

Присаживайтесь.

Нэкада. Я ластаим.

Нехорошо, нельзя так.

Пачиму? Я харашо стаим.

Не бойся гостя сидящего, а бойся гостя стоящего. Так у нас говорят.

Палач всегда баятпа. Хоть сидым, хоть лэжым.

И все-таки – прошу. Мы не надолго.

Топтар Обездаглаевич подумал. Потоптался, глядя на дверь кабака. Присел к дубовому столу и, нервничая, побарабанил квадратными ногтями, испытывая странное чувство недоверия к царской грамоте, предъявленной боярином. Однако взволновало его не только это. Ему вдруг показалось, что тайное задание – «секир башка царю!» – стало каким-то образом известно святогрустным людям. И не случайно эти «бояре» появились у него на пути, ох не случайно...

Жареным запахло. Он оглянулся и увидел Агафью с дымящимся блюдом в руках. «Вай, вай, какой девка!» – подумал. Глаза палача загорелись... И он облизнулся.

Агафья поняла это по-своему.

Проголодались?

Вай, вай, проголодался... такой красивый никогда не кушал! – признался он, жадными глазами поедая белое тело святогрустной бабы.

Да чего тут красивого? Я на скорую руку сготовила, – ответила Кабатчица, все ещё не понимая плотоядного заморыша.

Зато Серьгагуля моментально сообразил. Подошёл к ней, быстро шепнул:

Слышь! Посиди с ним рядом!

Это ещё зачем? – шикнула Агафья.

Посиди, сказал. Так надо. Понравилась ты, дура!

Да он же страшнее холеры!

Топтар Обездаглаевич нахмурился, услышав этот разговор. Достал часы – дорогой подарок падишаха. Квадратный ноготь кнопку тронул, крышка распахнулась и... два железных плоских человечка подскочили, серебристыми секирами стали колотить рубить по золотому пеньку, торчащему посреди циферблата; на месте каждой цифры была нарисована голова.

– Сем голов нарубили уже, – сказал палач.

Большеглазый Савва Дурнилыч бестолково посмотрел по сторонам.

– Где? Кто нарубил? А-а, это? На столе? Это свиные головы для холодца.

Дурохамец показал на циферблат и пояснил:

– Вот. Сем часов по-вашем.

Кабатчик склонился.

– Ух ты, какая штука! В жизни такую не видел!

Крышка захлопнулась. Часы потонули в кармане гостя.

Боярин в чернолисей шапке хлопотал поодаль. Серебряный кубок наполнил медовым зельем.

Это «Кубок большого горла» называется.

Спасиб. У меня такой горла нету. У миня горла малинький, – сурово заметил палач, наби-
вая трубку чёрным табаком; квадратный ноготь с хрустом вдавливал табачные листы в глубину
миниатюрного человеческого черепа; янтарный наконечник мундштука подсыхал, обслюняв-
ленный тонкими губами.

Ну, давайте «Кубок малого горла»?

Нэт, нэт! – он помолчал, насупившись. Он давно бы уже поднялся и ушёл, но Агафья
Кабатчица – её аппетитное белое тело – вот что взволновало палача. Хотелось увидеть Агафью.
Палач покосился в тот угол, где исчезла красивая толстомаяся баба.

Серьгагуля суетился перед ним, расшаркивался, то и дело натягивая насильственную
улыбочку на свое лицо и думая: «Ну, харя! Я пляшу сейчас, а ты потом передо мной попля-
шешь! Да не просто так попляшешь, а босиком на раскалённых углях!»

Придерживая чернолисю шапку, «боярин» наклонился – драгоценная серьга блеснула
пред глазами гостя.

Не нравится медок? А что мы будем пить, Топтар Обездаглаевич?

Молошка бы, – вздохнул заморыш.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.